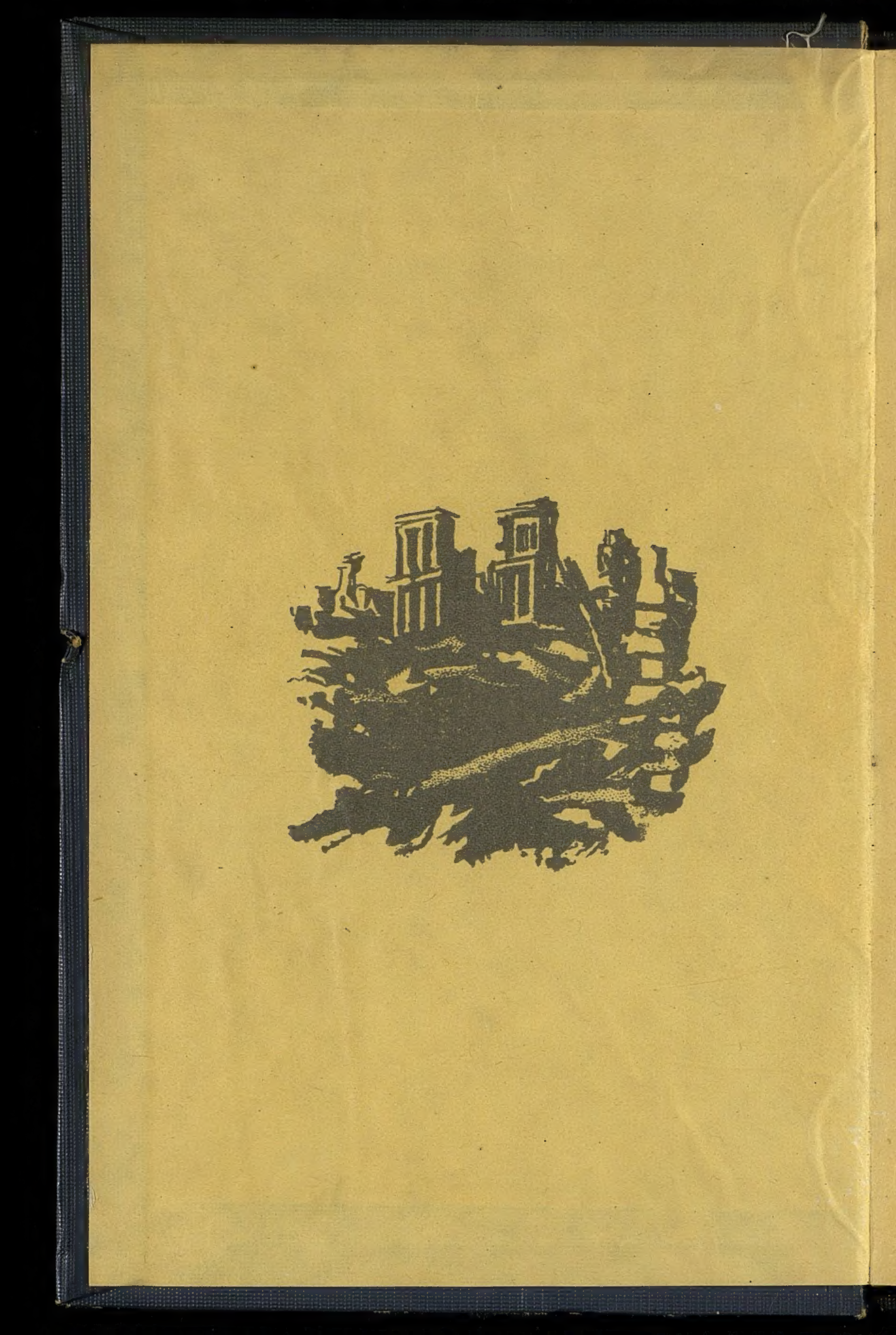
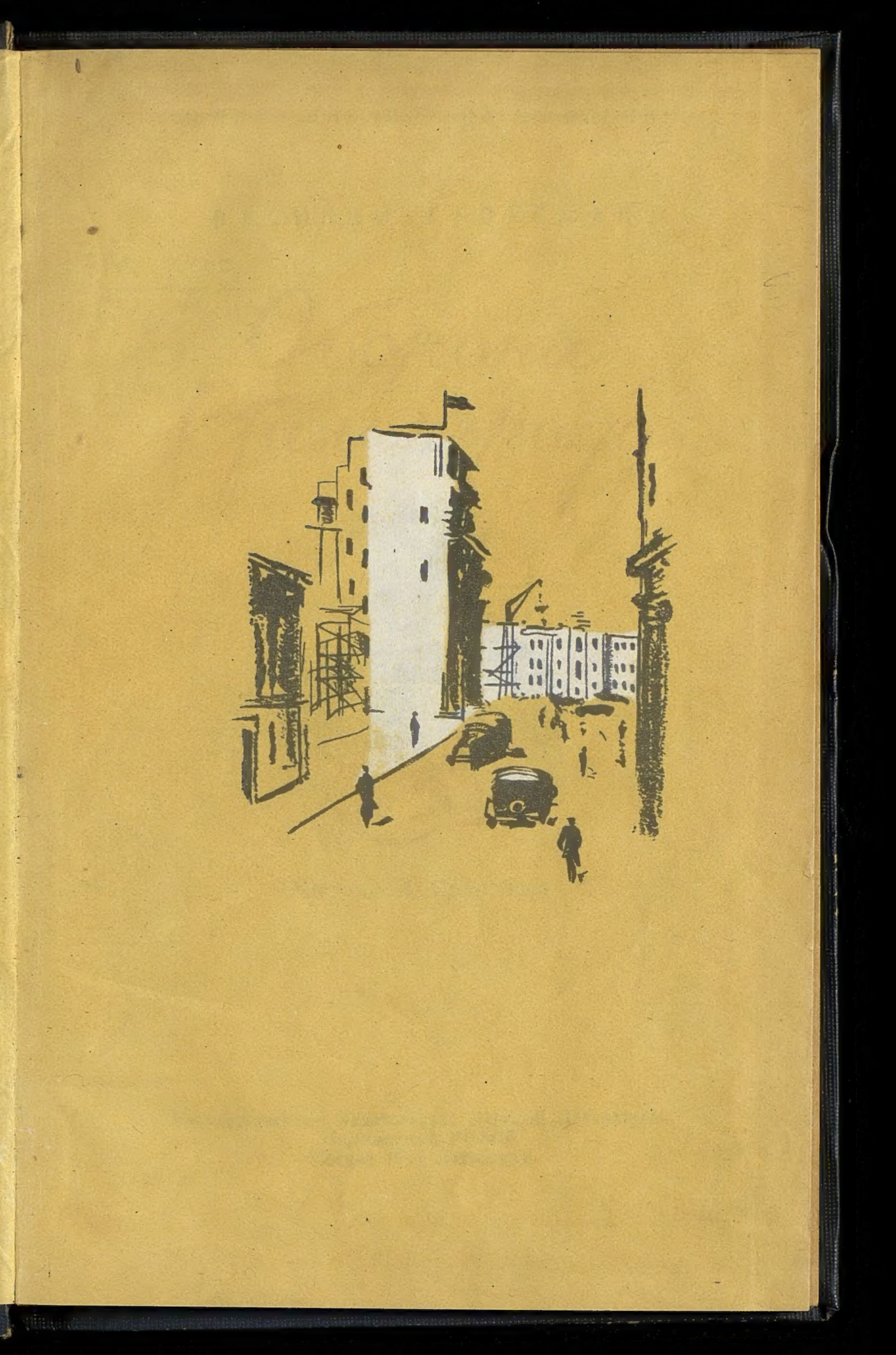
ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

# Оборона Сталинграда



ДЕТГИЗ 1944





ВОЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНИКА

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

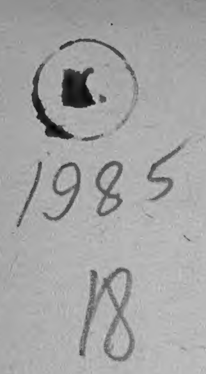


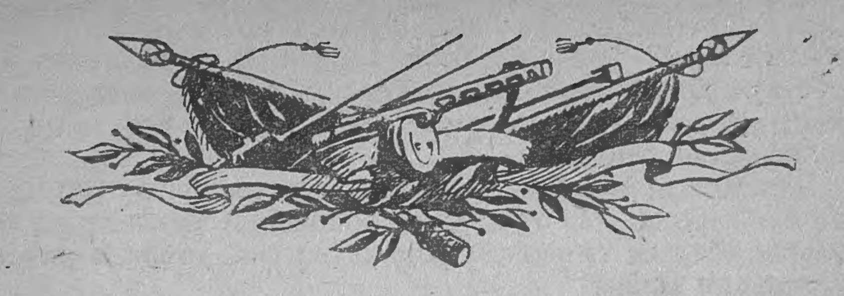
# Оборона Сталинграда



*Рисунки А. Ермолаева*

Государственное Издательство Детской Литературы
Наркомпроса РСФСР
Москва 1944 Ленинград





# ПРЕДИСЛОВИЕ

В книжке собраны очерки, написанные на Сталинградском фронте. В них рассказано о самых тяжелых днях, пережитых защитниками города в сентябре, октябре и ноябре 1942 года.

Два последних очерка — «Новый день» и «Сталинградское войско» — написаны в декабре, когда немецкие войска были окружены нашими армиями в районе Сталинграда. Тогда немцы уже не думали о том, чтобы захватить город, а мечтали лишь вырваться из него и бежать на запад. Но им не удалось прорвать железное кольцо наших войск. Красная армия, разгромив группировку немцев, продолжала победоносно развивать наступление.

Некоторых героев этих очерков уже нет в живых.

Так, смертью храбрых пал генерал Гуртьев, защищавший со своей дивизией сталинградский завод «Баррикады». Он погиб при взятии Орла.

Великие труды всех героев Сталинградской битвы, были ли они рядовыми красноармейцами или знаменитыми, известными всему миру генералами, не прошли даром. Советский народ вечно будет благодарен им за их безграничное мужество, за кровь, пролитую ими ради счастья и свободы нашей Родины.

Молодой читатель, конечно, слышал и знает, какое огромное значение в ходе войны играла битва за Сталинград.

Если бы немцам удалось его захватить, они пошли бы вверх по Волге, чтобы отрезать уральские военные заводы от Москвы и создать страшную угрозу для нашей столицы.

Сталинградское сражение явилось поворотной точкой всей Великой Отечественной войны. В этом сражении хрустнул хребет фашистского зверя, он надорвал в этом сражении свои силы, получил глубокие кровоточащие, незаживающие раны.

Для Красной армии в битвах сегодняшнего дня, для нашего народа, для грядущих поколений Сталинград останется вечным символом торжества сил добра и разума над силами мрака.

Сталинград недаром носит имя СТАЛИНА, великого вождя, организатора и вдохновителя сталинградской победы.

Сталинград станет живым и вечным примером для юношества всех народов:

тот, кто беззаветно верит в добро и справедливость, кто любит свободу больше жизни, тот победит в самой тяжкой борьбе.

*Василий Гроссман*

*Москва*
*18 февраля 1944 г.*



## ВОЛГА — СТАЛИНГРАД

Долог путь от Москвы до Сталинграда. Наша машина шла фронтовыми дорогами, мимо прелестных рек и зеленых городов. Мы ехали пыльными проселками, укатанными грейдерами, ехали яркими синими полднями в горячей пыли; и на рассвете, когда первые лучи солнца освещают пышно налившуюся краской рябину; ехали ночью — и луна и звезды блестели в тихих водах Красивой Мечи, золотой рябью плыли по молодому, быстрому Дону.

Мы проехали через Ясную Поляну. Пчелы ползали по цветам, выросшим на тихом могильном холме, и маленькие осы неподвижно висели над могилой Толстого, словно прикрывая ее с воздуха. Вокруг яснополянского дома пышно разрослись цветы, через открытые окна в комнаты входило солнце, и свежевыбеленные стены сияли. Лишь плешины на земле возле могилы, где немцы закопали восемьдесят убитых, да черные следы пожара на дощатом полу дома напоминали о вторжении немцев в Ясную Поляну. Дом отстроен, снова цветут цветы, снова торжественна своей великой простотой могила; тела вражеских солдат отвезены от нее и похоронены в огромных воронках от тяжелых немецких фугасок, упавших на яснополянскую землю. И места эти поросли сырой болотной травой.

А мы едем все дальше по прекрасной земле, охваченной тревогой войны.

Длинна дорога к Сталинграду. Вот уже другое время — часы здесь на час вперед. Вот и другие птицы —

большеголовые коршуны на толстых мохнатых лапах неподвижно укрепились на телеграфных столбах; по вечерам серые совы тяжело, неловко летают над дорогой. Злей стало дневное солнце. Ужи переползают дорогу. И степь уж другая — пышное многотравие ее исчезло. Степь коричневая, жаркая; она поросла пыльным бурьяном и полынью, тощим, жалким ковылем, льнущим к потрескавшейся земле. Волы тащат телеги; вот и двугорбый верблюд стоит среди степи. Все ближе Волга. Физически ощущается огромность захваченного врагом пространства, страшное чувство тревоги давит на сердце, мешает дышать. Эта война на юге, война на Нижней Волге, это ощущение вражеского ножа, зашедшего глубоко в тело, эти верблюды и плоская выжженная степь, говорящие о близости пустыни, вызывают чувство тревоги.

Отступать дальше нельзя. Каждый шаг назад — большая и, может быть, непоправимая беда. Этим чувством проникнуто население приволжских деревень, это чувство живет в армиях, защищающих Волгу и Сталинград...

Ранним утром мы увидели Волгу. Река русской свободы глядела сурово и печально в этот холодный и ветреный час. Низко неслись темные облака, но воздух был ясен, и на много верст был виден белый обрывистый правый берег и песчаные степи Заволжья. Светлая волжская вода широко и свободно шла меж огромных земель, точно могучий металл, слившийй воедино правобережье и Заволжье. У высокого берега вода бурлила, вертела арбузные корки, точила осыпающийся песчаник; волна вздыхала, колебля бакан.

К полудню ветер разогнал облака, сразу стало жарко, и Волга засияла под высоко и круто поднявшимся солнцем, поголубела, воздух над ней подернулся легким синеватым туманом; мягко и спокойно лежал у воды песчаный луговой берег.

Одновременно радостно и горько было глядеть на прекраснейшую из рек. Пароходы, выкрашенные в зелено-серую краску, закрытые вядшими ветвями, стояли у причалов; легкий дымок едва поднимался над трубами — они сдерживали свое шумное, живое дыхание, боясь быть замеченными врагом. Всюду к самому берегу тянутся окопы, блиндажи, противотанковые рвы. У некогда шумных переправ, где беспечно толпились люди, скрипели подводы, груженные арбузами и дынями, где шныряли мальчишки с удочками, теперь стоят зенитные пушки,

сдвоенные и счетверенные пулеметы, вырыты укрытия; замаскированные грузовики, рассредоточившись, ожидают очереди. Война подошла к Волге. Нигде так не звучала артиллерийская канонада, как здесь, над волжским простором. Звук артиллерийской стрельбы, не стесненный преградами, усиленный эхом, звучит здесь во всю полноту, могуче перекатываясь, поднимается от земли к небу и вновь опускается от неба к земле. Этот торжественный грохот напоминает людям о том, что война вступила в решающую полосу, что отступать дальше нельзя, что Волга — это главный рубеж нашей обороны.

По ночам старухи в волжских деревнях рассказывали одну и ту же сказку о пленном немецком генерале, который сказал захватившим его бойцам: «У меня приказ такой: возьмем Сталинград — дальше за Волгу пойдем. Не возьмем Сталинград — придется нам обратно за свою границу итти, не удержаться нам тогда в России». Это, конечно, сказка, но в этой сказке, как во всякой сказке, придуманной народом, больше правды, чем в другой были. И мысль о Волге и Сталинграде, о главной и решающей битве владеет всеми: стариками, женщинами, бойцами рабочих батальонов, танкистами, летчиками, артиллеристами.

В конце августа немцы напали на Сталинград с воздуха. Такой силы воздушного удара немцы не концентрировали ни разу за всю войну: противник произвел свыше тысячи самолетовылетов. Он обрушил свои удары на жилые кварталы, на прекрасные здания центральной части города, он бил по библиотекам, по детской больнице, по госпиталям, по школам и высшим учебным заведениям. Огромное зарево и клубы дыма поднялись над Сталинградом. Долгие часы один из прекраснейших городов Советского Союза, с домами, населенными женщинами, детьми, подвергался чудовищной бомбежке. Немцы, конечно, знали, что все заводы находятся на окраине города, но били они главным образом по центру. Мы не собираемся укорять их за это: поднявшим меч внятен лишь язык меча.

Во время воздушного налета противник вырвался к Волге севернее города. Колонна танков и следующие за танками грузовики с мотопехотой некоторое время непосредственно угрожали северной окраине Сталинграда в районе Тракторного завода. Удар врага отразили противотанковая часть подполковника Горелика и зенитчики

подполковника Германа. Вместе с ними сражались рабочие батальоны Тракторного завода и «Баррикад», нашлись среди рабочих прекрасные артиллеристы, танкисты, минометчики. Прямо из заводских ворот выезжали танки, выкатывали орудия, вывозились минометы на поле боя. В эту огненную ночь заводы продолжали работать среди рева разрывов, в бушевавшем вокруг пламени. Прекрасно спокойное мужество рабочих, инженеров, начальников заводских цехов. Много десятков тяжелых пушек и танков получила армия за два дня боев северо-западнее Сталинграда.

Навсегда войдет в историю этой войны имя веселого и пламенного капитана Саркисьяна, первым встретившего тяжелыми минометами немецкие танки. Навсегда запомнится зенитная батарея лейтенанта Скакуна. Потеряв связь с командованием зенитного полка, она больше суток самостоятельно дралась с воздушным и наземным врагом. Ее атаковали с воздуха пикировщики, с земли — тяжелые танки противника. Земля и воздух, пламя и дым, чугунный грохот бомбовых разрывов, вой снарядов и пулеметных очередей смешались в единый хаос.

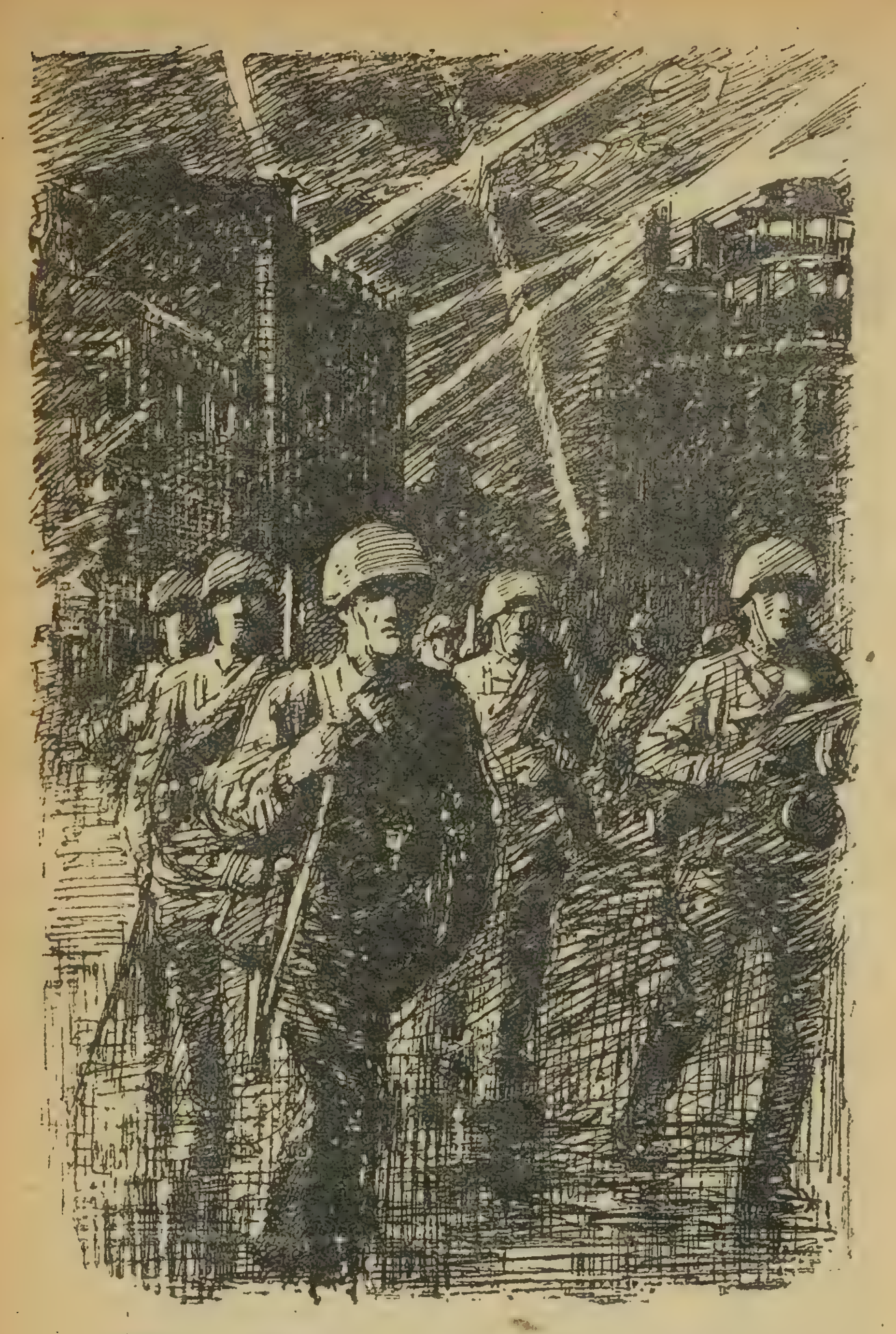
На батарее были девушки-зенитчицы: прибористки, дальномерщицы-стереоскопистки, разведчицы. Сутки дрались они рядом с товарищами артиллеристами. «Подавлены, накрыли», каждый раз думал командир полка, когда замолкали зенитки. И каждый раз снова слышалась четкая, размеренная пальба зенитных пушек. Сутки длился этот страшный бой. Лишь на следующий день вечером пришли с батареи уцелевшие четыре бойца и раненый командир. Они рассказали, что за время боя девушки ни разу не ушли в укрытия, а бывали минуты, когда нельзя было не уйти. И внезапный прорыв врага к городу был отбит. Положение упрочилось.

Так открылась первая страница эпопеи обороны Сталинграда, страница, написанная огнем и кровью, стойкостью войск, мужеством рабочих и любовью. Оборона Царицына и оборона Сталинграда. Кровопролитные бои снова идут в тех же местах, где красные войска обороняли Царицын. Снова в сводках называются деревни и хутора, известные по обороне Царицына, войска идут мимо поросших травой старых окопов, описанных историками гражданской войны; немало участников обороны красного Царицына — рабочих, партийных работников,

рыбаков, крестьян — добровольцами идут оборонять красный Сталинград.

Мы приехали в Сталинград вскоре после налета. Еще кое-где дымились пожарища. Приехавший с нами товарищ, сталинградец, показывает нам свой сгоревший дом. «Вот здесь была детская, — говорит он, — здесь стояла моя библиотека; вон в том углу, где исковерканные трубы, я работал, тут стоял мой письменный стол». Из-под нагромождения кирпича видны изогнутые остовы детских кроватей. Стены дома горячи, как тело покойника, не успевшее остыть. Ясное, беспечное небо смотрит сквозь прогоревшую крышу. Над зданием детской больницы имени Ленина видна скульптура орла; одно крыло орла отбито осколком бомбы, второе простерто для полета. Стены и колоннада погибшего Дворца физкультуры покрыты копотью пожара, и на черно-бархатном фоне ослепительно выделяются две белые скульптуры нагих юношей. На окнах пустых домов дремлют холеные сибирские кошки, зеленые вазоны дышат свежим воздухом сквозь выбитые стекла. Мальчики собирают возле памятника Хользунова осколки бомб и зенитных снарядов. В тихий вечерний час печальна розовая красота заката, глядящего через сотни пустых оконных глазниц. Над многими зданиями прибиты мраморные мемориальные доски: «Здесь выступал в 1919 году Сталин», «Здесь помещался штаб обороны Царицына». В центральном сквере стоит каменная колонна с надписью: «Пролетариат красного Царицына — борцам за свободу, погибшим в 1919 году от рук врангелевских палачей».

Сталинград живет и будет жить. Нельзя сломить волю народа к свободе. Рабочие отряды расчищают улицы, дымят заводские трубы, а небо покрыто круглыми облачками зенитных разрывов. Люди сразу привыкли к войне. На паром, переправляющий к городу войска, то и дело налетают неприятельские истребители и бомбардировщики. Рокочут пулеметные очереди, бьют зенитки, а матросы, поглядывая на небо, едят сочные арбузные ломти; мальчишки, свесив с парома ноги, внимательно следят за поплавком своей удочки; пожилая женщина, сидя на скамеечке, вяжет чулок. Каждый день на фронт уходят новые рабочие отряды. Сталинград стал в строй пролетарских крепостей страны: Тулы, Ленинграда, Москвы. Эти крепости неприступны. Мы входим в подворотню разрушенного дома. Население дома обедает на столах,



*Идет пехота, тяжело и грузно шагая по асфальту.*

устроенных из досок и ящиков, дети дуют в миски с горячими щами. Один из военных товарищей поднимает с земли полуобгоревшую книгу. «Униженные и оскорбленные», читает он вслух, оглядывает сидящих на узлах женщин и вздыхает. Подошедшая школьница, поняв ход его мыслей, говорит сердито: «К нам это не относится: мы оскорбленные, но не униженные. Униженными мы никогда не будем».

Ночью мы ходим по улицам. В небе — гудение моторов, бесшумно сталкивается свет наших и немецких прожекторов. Торжественно выглядят прямые улицы, пустынные широкие площади. Позвякивают винтовки патрулей. Рокоча, движутся танки, танкисты внимательно осматривают улицы. Идет пехота, тяжело и грузно шагая по асфальту. Лица бойцов сосредоточенны и задумчивы. Наутро бой. Бой за Волгу, за Сталинград.

Вспоминается весь далекий путь: вновь ожившая, торжественная и тихая Ясная Поляна, пчелы на могиле Толстого, благородный и верный труд крестьянок на широких полях прифронтовой полосы, Красивая Меча при свете луны, старушечьи сказки о пленном немце, сказавшем: «Не возьмем Сталинград — не удержаться нам тогда в России», грохот артиллерийской канонады над Волгой, бронзовый летчик Хользунов, глядящий в небо, матросы на волжской переправе... Горько воевать на Волге! Но нет, не только об обороне нужно нам думать. Здесь, на Волге, должна решиться судьба великой войны за свободу. Пусть здесь опустится на врага выкованный в тяжких испытаниях меч победы.

А войска все идут, идут по темным улицам. Лица людей задумчивы. Эти люди будут достойны великого прошлого, революции, тех, кто пал, обороняя красный Царицын от белогвардейцев.

*Сталинград*
*5 сентября 1942 г.*





# РОТА МОЛОДЫХ АВТОМАТЧИКОВ

Вечером лежали в степной балке и ругали старшину. Большинство автоматчиков разулись; покачивая головами, разглядывали покрасневшие, саднившие ступни. Болели шеи, натруженные ремнем автомата. Кое-кто решил постирать в мелком, разлившемся по дну балки ручье. Прозрачная вода становилась коричнево-мутной от грязных портянок. Потом портянки сохли на ветвях диких груш и вишен, а ребята ощупывали пальцы ног и вздыхали:

— Да, после такого марша надо бы ногам дать отдохнуть!

Лазарев, узкоплечий парень с давно не стриженными русыми волосами, мягко льнущими к впалым вискам и затылку, сердито говорил:

— Я старшину предупреждал насчет того, что ботинки мне тесны, а он говорит: разносятся. Вот и разносились: в кровь ноги разбил.

— Ему хорошо на кухне ехать, загорать, а мы степь ступней мерим, — сказал черноглазый, черноволосый горьковчанин Романов и, задрав разутую ногу, бережно подул на воспалившуюся, горячую кожу.

— Пыль, солнце и нет спасения, и конца ей нет и краю, — сказал Петренко. — То ли дело Украина — садки и садки!

Лазарев рассмеялся.

— Ты степь не ругай. Желдубаев обижается, когда степь ругают.

Казах Желдубаев — товарищ Лазарева. Они подружились во время учебы в резервной части, беседуя в тихий

час после занятий, на долгом марше под жестоким степным солнцем, в вихре пыли, такой густой, что рядом идущий вдруг исчезает, становится невидимым. И, должно быть, Лазарев кричал в облаке пыли:

— Эй, Желдубаев! Ты здесь, что ли? Ни черта не видно!

После марша у них были совершенно одинаковые по цвету лица, хотя Желдубаев был самым черным, а Лазарев самым белым среди автоматчиков. Загар не приставал к лицу Лазарева, и высокий лоб его оставался таким же белым, каким был до степного похода. А в густой пыли дороги лица казаха и нарофоминца были одинаковы — серые, и только глаза — черные круглые у Желдубаева и голубые у Лазарева — сверкали живой влагой.

Они не вели длинных бесед. Они слишком уставали, чтобы вести долгий разговор. Но шагали они рядом, и изредка Лазарев спрашивал:

— Что, брат, устал?

А Желдубаев, вытаскивая из фляги пробку, обернутую набухшей газетной бумагой, протягивал товарищу стеклянную пузатую бутылку с теплой, мутной водой.

— Пей раньше ты, — говорил Лазарев.

— Ничего, ничего, пей, пожалуйста, — отвечал Желдубаев.

Вечером, если не успевали подвезти хлеб, они делили сухари и свертывали из экономии одну козью ножку. Они жалели друг друга. Вся рота автоматчиков жила необычайно дружно, семейно. Может быть, это происходило оттого, что рота была сплошь из молодежи. И статный Дробот — командир роты, и его заместитель Березюк, сухопарый и длинноносый, и командир взвода лейтенант Шуть — словом, все автоматчики были примерно одних лет: кто двадцатого, кто двадцать третьего года. Но одни из них уже воевали больше года, как Дробот и Березюк, другие, как Романов и Желдубаев, впервые шли в бой.

Ходили они немного вразвалку, поглаживая висящий на груди автомат, поглядывали снисходительно на бойцов-стрелков и весьма гордились тем, что служат в роте автоматчиков. При марше полка их рота шла впереди, и все встречные поглядывали на них и говорили:

— Гляди, автоматчики идут.

Дробот для порядка был строг с ними, требовал, чтобы тщательно ухаживали за оружием, проверял автома-

ты, подтягивал ребят, но они сами знали и чувствовали, что для них значит ППШ. Дробот и Березюк были украинцами, их семьи остались на оккупированной территории: у Дробота — под Белгородом, у Березюка — в Винницкой области, и в них обоих была какая-то сосредоточенность, злобность, передававшаяся бойцам. Березюка ранили в осенних боях, и на щеке у него был большой розовый, лучами расходившийся рубец. Он всегда придирался к командирам взводов и отделений, но видно было, что делает это он не по злобе, а от любви к службе, и на него не сердились.

Любили автоматчики командира взвода Шуть — молодого лейтенанта. Он еще в школе слыл хорошим, верным товарищем, а ставши комвзводом, говорил своим бойцам:

— Главное, ребята, держите товарищество, не нарушайте. Для нас это первое дело.

И сам он никогда не нарушал товарищество автоматчиков.

Черноглазый Романов работал до призыва в знаменитой Павловской артели на Оке, где делаются лучшие в Советской стране перочинные ножи. Идя на службу, он взял с собой несколько замечательных ножиков со множеством приспособлений. Один был в форме самолета, другой походил на танк. Романов предполагал, что ножи пригодятся ему в трудную минуту, на такой ножик всегда наменяешь и табаку, и спичек, и чего хочешь, но товарищество в роте было так крепко и так пришлись по душе Романову ребята, что он не стал менять свои ножи, отдал их без всякого обмена товарищам.

Лазарев, грустно улыбаясь, говорил:

— А я, ребята, до войны токарем был по дереву — шахматы работал из березы. Наделал я их великую силу, а сам играть не могу. — И, поглядывая на бойцов живым, умным взглядом, повторял: — Вот какое дело, шахматы делал с утра до ночи, а играть не научился, некогда было.

Пока сохли портянки, автоматчики нюхали дым, идущий от кухни, и позевывали: очень хотелось есть, но еще больше хотелось спать после пятидесятикилометрового марша.

Но им не пришлось отдохнуть по-настоящему. В этот день немецкие танки и мотопехота прорвались на одном из участков под Сталинградом. Немцы стремились к Волге, они чуяли влажное дыхание великой реки, они чуяли

близость зимы, они напрягали все силы, чтобы вырваться к огромному городу. Командир полка Савинов получил приказ выступить в ту же ночь.

Он прошел мимо отдыхавших в балке батальонов, оглядывая утомленные лица людей, прислушиваясь к отрывкам разговоров отдыхавших на земле красноармейцев. Прошел он мимо автоматчиков и пытливо оглядел их молодые, похудевшие, ставшие совсем мальчишескими лица. Многие из них никогда не были в бою.

«Как они?.. Выдержат ли, устоят ли — эти ребята в побелевших от злого солнца гимнастерках?»

Через несколько часов полк вступил в бой, и этот бой длился больше десяти дней...

Во время короткого отдыха полк вновь стоял в степной балке. Теплый вечерний воздух был полон рокота своих и вражеских самолетов; высоко в синем небе раздавались пулеметные очереди, стреляли пушки, выли моторы. На земле в это время тоже шел бой. Белые и черные облака разрывов стлались над плоской степью, коротко и четко печатали скорострельные полуавтоматические пушки, глухо раздавались разрывы тяжелых немецких снарядов. Иногда протяжно рокотали залпы гвардейских минометных дивизионов, и в гуле разрывов тонули звуки битвы, шедшей на земле и в небе. А иногда бой утихал, и становилось тихо, так тихо, что слышно было, как шуршит степная сухая трава и стрекочут кузнечики. В глубокой балке бойцы себя чувствовали спокойно и мирно, словно отдыхали у себя дома, а не в нескольких километрах от противника. Автоматчики лежали на земле, поглаживая свои автоматы; кряхтя от удовольствия, вытягивались во весь рост. Некоторые из них разулись, некоторые сняли гимнастерки, и снова на ветвях тощих диких груш и вишен лениво колыхались портянки и желтые, мытые в холодной воде рубахи — плоды нехитрой красноармейской стирки. Я гляжу в молодые лица автоматчиков, вышедших из длившегося много дней и ночей боя. Для многих из них этот бой был первым. На их лицах — странное смешение веселого мальчишества и опыта заглянувших в темные зрачки смерти людей.

Дробот говорил спокойно и задумчиво. Хорошо, когда молодой командир после боя недоволен собой, спокойно отмечает ошибки, помешавшие с полной силой развернуться автоматчикам, с настоящей тревогой разбирает случившиеся промахи; хорошо, когда молодой

командир ни одного слова не говорит о себе, о своих храбрых поступках; хорошо, когда он с восхищением и товарищеской гордостью рассказывает о бойцах. Рота выдержала испытание. На всю роту лишь один человек оказался недостойным товарищества автоматчиков. Лишь один человек — младший сержант Роганов в момент наступления очутился на командном пункте полка. Прибежавший на КП Березюк удивленно спросил:

— Почему вы здесь, младший сержант, а не со своим отделением?

Роганов ответил, что пришел на командный пункт за ужином для бойцов.

— Неужели нельзя было бойца послать? — медленно сказал Березюк, кривя стянутый шрамом рот. — Сию же минуту отправляйтесь на передний край.

— Есть, — ответил Роганов, но он не исполнил приказа лейтенанта.

Всю ночь Березюк был в бою с автоматчиками и не видел Роганова; а утром ему сказали, что Роганов околачивается по полковым тылам. Березюк рассказал бойцам в короткую передышку боя о дезертирстве младшего сержанта.

— Эх, встретился б он мне, застрелил бы, как собаку! — сказал молодой боец.

И товарищество автоматчиков подтвердило в один голос: пусть не живет на свете, расстрелять его. И никто в мире не имел большего права произнести эти жестокие слова, чем они. Они получили это право смертного приговора дезертиру, потому что сами не жалели своей жизни, потому что щедро пролили свою молодую кровь, потому что прочней металла сделалась их дружба в степных боях под Сталинградом.

Вот как рассказывал Лазарев о первом бое:

— Пустили нас впереди стрелков: автоматчики ведь. Приказали к самым дзотам его добираться. Пятеро нас было: я, Романов, что ножи ребятам подарил, Петренко, Бельченко и друг мой главный — Желдубаев. Уже к вечеру было, солнышко садится, а огонь такой, что страшно сказать — мина к мине ложится, дым, пыль стоит, вся земля вокруг нас минами разрыта. Они, мины, землю глубоко не роют, а вроде разгребают, как курица лапами. Засвистит — ляжем, разорвется — опять вперед идем. Несколько раз он нас накрыть хотел — ну, прямо кажется, вот уже последнее дыхание пришло, в пяти шагах рвут-

ся, в ушах так и звенит. Тут бы пожилой человек пропал обязательно, а у нас, молодых, ноги крепкие: как кинемся в сторону — один туда, другой сюда, он за нами минами не угонится, потеряет цель, а мы соберемся, опять вперед идем. Такое нас упорство взяло: ну, что хочешь делай, лезем вперед и только. Уж совсем близко стали подходить, метров двести оставалось, вдруг пять танков из-за холма вышли и прямо на нас. Романов рядом со мной был. Посмотрел он на них — в первый раз он немецкие танки видал — и сказал: «Ну, смерть нам сейчас будет». Легли мы, смотрим на них. Обратно повернуть? Нет, такой мысли у ребят не было, а танки постояли, через наши головы огонь повели, постреляли и опять за холм вернулись. Переглянулись мы: «Что же, ребята, давай вперед пробираться. Такое уж наше дело, ничего не попишешь». И снова пошли, только, правду скажу, настроение у нас стало очень серьезным, особенно после танков этих, и не верилось, что живыми из этого боя выйдем. Но тут мы совсем к немцу подошли, видать их прямо, совсем рядом. Человек двадцать пять автоматчиков мы насчитали, офицер с ними был — шинель распахнута, и сумку видно на ремне под шинелью. Ходит он взад и вперед, все поглядывает в нашу сторону. Их двадцать пять, а нас пятеро, у них автоматы — и мы с автоматами. Полежали мы, подумали каждый про себя и открыли с ними бой. И только очереди мы первые дали, Желдубаев толкает меня и говорит: «Я сшиб его». И я как-то удивился, говорю: «Да ну?» А он на меня посмотрел, зубами смеется: «Правда». И как-то он сказал это «правда», что сразу у нас настроение поднялось, и мы смеяться стали, и такое настроение стало... ну, я прямо не скажу, объяснить нельзя. Только минуты даже не прошло — немецкий снайпер Желдубаева сшиб, прямо в лоб пуля пошла; он лег рядом со мной и слова не сказал, и не стало его. Лежит мертвый, и я в его крови. Тут уж мы четверо бой вели. Я не могу рассказать, как только отбили мы своим огнем этих двадцать пять, не скажу я, сколько мы их положили, какие там убегли, врать не хочу. Дело вечером было, только не мы, а они с поля ушли; и я остался с Желдубаевым в степи, выкопал ему могилу, положил его туда своими руками, простился с ним и своими руками закопал землей.

Товарищи слушали рассказ Лазарева, изредка вставляя:



*Я выкопал ему могилу, простился с ним и своими руками закопал землей.*

— Случай интересный был у Бугрова, но Бугров — он убитый.

— Это верно. Когда танки пошли на нас, мы подумали: ну, смерть нам сейчас будет.

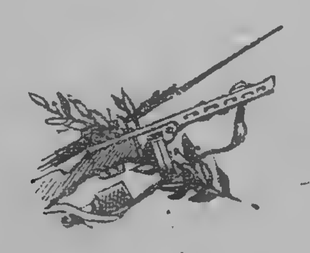
— А хуже всего в бою, что старшина обеда не приносит, загорает возле кухонь и на передовую боится полезть. Вот у нас от этого тоже потеря была: невтерпеж станет, пойдет кто за обедом, а его и подшибут. Тут местность — степь, обед на передовую надо ночью всегда подвозить, днем не проберешься, а в части не сообразили; вот и бывали дни — голодными воевали, а от этого настроение, знаете, какое? Хорошо еще, мы, молодые, сознание имеем для любой трудности. Ночью, словом, обед надо на передовую везть.

Когда Лазарев кончил рассказ о том, как прощался он с мертвым Желдубаевым, черноглазый Романов сказал:

— Я раньше думал: что же самое страшное в бою? А теперь вижу: самое страшное — товарища в бою потерять. Как перед смертью лейтенант Шуть стал с нами прощаться и сказал: «Я только одно прошу, ребята: будьте дружней, держитесь дружней, держитесь всегда вместе, не тушуйтесь», так у всей роты слезы и покатились. Я понял тогда: товарищ в бою — это лучше отца-матери. И я не думал, что автоматчики всей ротой плакать могут.

Степь была залита тихим светом садящегося солнца, а в балке стоял полумрак. Шли от кухонь бойцы с котелками, светлели на темных ветвях сохнущие портянки и рубахи. Мне подумалось: как жестоко и страшно ошибся младший сержант Роганов! Лучше потерять жизнь в бою, чем потерять уважение и любовь верных людей из роты молодых автоматчиков.

*11 сентября 1942 г.*





## ДУША КРАСНОАРМЕЙЦА

Противотанковое ружье напоминает старинную пищаль. Оно так же велико, тяжеловесно, управляются с ним два бойца — первый и второй номер. В походе первый номер несет ружье, второй номер — увесистые бронебойные патроны, похожие на снаряды малокалиберной пушки, счетом тридцать штук, пятизарядную винтовку, к ней сто патронов, две противотанковые гранаты, ну и само собой — шинель и вещевой мешок. Все это вместе по весу приблизительно соответствует ружью. От ружья в походе сильно ноет плечо и затекает рука. Прыгать с ним неудобно, трудно ходить по скользкому, тяжесть ружья мешает движению, не дает возможности сохранять равновесие. Бронебойщик шагает тяжелой широкой походкой, немного припадая на одну ногу, куда падает тяжесть ружья. Его походку можно отличить от легкого хода командира, от мерного, ровного марша стрелка, от шаркающей «флотской» поступи автоматчиков, от стремительного хода привыкшего к вечному движению связиста. Да и по внешности легко отличить бронебойщика. Это народ большей частью коренастый, плечистый. По духу, характеру такой человек должен походить на тех русских охотников, которые ходили с рогатиной поднимать в чаще матерого медведя. И надо прямо сказать, что клыкастый угрюмый бирюк — безобиднейшая тварь по сравнению с тяжелым немецким танком, вооруженным скорострельными пушками и пулеметами.

Еще в походе Громов болел, «мучился животом», но он не захотел ложиться в госпиталь. Он медленно шел под не ведающим жалости степным солнцем, неся на пле-

че ружье. Командир отделения Чигарев два раза сказал ему:

— Сходи в санчасть. Ты с лица сбледнел как-то.

— А что мне санчасть? — сердито отвечал Громов. — На печь, что ли, меня положат? Одно лечение — вперед итти.

— Ну, дай ружье понесу, — говорил второй номер Валькин, — натерло, небось, холку.

— Ладно, ты за мою холку не беспокойся, — раздраженно ответил ему Громов. — Шагай за мной, твое дело маленькое.

И он шел, все шел в горячей белой пыли, время от времени облизывая шершавые, сухие губы, вздыхал и тяжело, шумно втягивал в себя воздух. Ему было очень трудно. Ночью, несмотря на усталость, он спал плохо, беспокойно и тяжело, его лихорадило. «Вот война, — думал он, — днем жара мучит, ночью холод, озноб бьет».

Впервые в жизни пришлось ему побывать на Волге. Острым, все замечающим глазом осматривал он просторные степные земли, оглядывал больших мохнатых коршунов, цепкими когтистыми пальцами держащихся за белые скользкие изоляторы на телеграфных столбах; прищурившись, смотрел он на реку, всю в белых барашках, поднятых сильным низовым ветром. Он разговаривал в деревнях с рослыми волжскими старухами, с бородатыми седыми рыбаками и вздыхал, слушая рассказы о богатствах огромной реки, о больших урожаях пшеницы, бахчах, виноградниках.

«Эх, дошел, жулик, до коренной волжской земли!» думал он, прислушиваясь по ночам к орудийным раскатам, гулко перекатывающимся над речным простором. Он мучился от невеселых, тяжелых мыслей, они не оставляли его ни днем в степи, ни на ночных привалах.

И он весь был охвачен тяжелой злобой человека, которого война оторвала от родного поля, от избы, от жены, родившей ему детей, злобой недоверчивого Фомы, своими глазами увидевшего огромную народную беду, вызванную нашествием немцев. Он видел сожженные деревни; навстречу ему по пыльным дорогам тащились телеги беженцев; он видел старух и стариков, баб с грудными ребятами на руках, ночевавших под открытым небом в степных балках; он видел невинную кровь; он слышал страшные простые рассказы, которые были правдой от первого до последнего слова.

И ни болезнь его, ни тяжесть похода по знойным и пыльным дорогам не могли сломить его воли, его желания бить в броню немецких танков... Это желание, упорное и медленное, созрело и выросло в сердце Громова, человека, никогда не забывающего обид. Его тяжелое сердце медленно раскалялось в огне войны, оно, словно каменный уголь, разогретый в горне, рдело темнокрасным огнем. И уже нельзя было потушить этот огонь.

Он презрительно поглядывал на стрелков, на расчеты легких пулеметов. Он верил в силу своего огромного ружья-пушки, он прощал ружью его вес и вечером, после чудовищного напряжения сил, никогда не относился к ружью небрежно или с раздражением. Он терпеливо и внимательно очищал тряпочкой побелевший от пыли ствол, пробовал пальцами могучую пружину спускового механизма, разглядывал темносинюю сталь, блестевшую под слоем масла. Прежде чем лечь, он, кряхтя, укладывал спать свое ружье — так, чтобы не было ему сыро, чтобы не ложилась на него дорожная пыль, чтобы не попала в дуло земля, чтобы не наступил на него проходящий в темноте боец.

Он его уважал — большое ружье, он верил в него так, как в мирные времена верил в стальные лемехи тяжелого плуга. Он был умелым пахарем в мирные времена, а в час войны Громов взял в руки ружье, пробивающее броню германского танка. Это ружье было подстать его натуре, его нелегкой душе, его недобрым зеленым глазам, всему духу человека, не прощающего обиду и помнящего добро и зло до последнего вздоха. Он не так уж сладко жил до войны, Громов: он изведал и тяжкий долгий труд и нужду. Но такой обиды он не мог помыслить себе. И он шел на врага, припадая на ту ногу, куда ложилась тяжесть ружья, облизывая пересохшие губы, дыша знойным, белым от пыли воздухом, необщительный, неудобный для людей, шедших рядом и уступающих ему дорогу. Так в древние времена шли воины с неуклюжими мушкетами, и все кругом поглядывали на них с почтением, надеждой и даже со страхом. И в словах его, в насмешливой и гордой независимости проявлялась душа человека, который пошел на войну, ничего уж не жалея: мог он, усмехнувшись, отдать последнюю папиросу, небрежно кинуть попросившему прикурить бойцу единственный свой коробок спичек, не жалел он своего

заболевшего в походе тела, не считал быстрых ударов сердца, не думал о смерти, навстречу которой шагал.

— Громов, верно: сходил бы в санчасть, — сказал ему старший сержант Игнатьев.

— Нет, — отвечал Громов.

Ему было очень трудно, жестокая война всей тяжестью легла на его плечи; его знобило ночью, а днем в степи иногда белый туман застилал ему глаза, и он не знал — пыль ли это встала в воздухе, или меркнет от хвори его зрение.

И он шагал все вперед, больной солдат, упрямый и злой, не ждущий никаких похвал за великий подвиг — терпение.

Ночью они заняли боевой рубеж. Пробираться пришлось ползком, то и дело останавливаясь, припадая к земле. Над передним краем летала фашистская «керосинка», потрескивающий шумливый самолет. «Керосинка» ставила фонари — ракеты и летала между ними, высматривала в белом сиянии, куда бы уронить малокалиберную бомбу. Вреда от этой «керосинки» было не много, но шуму и беспокойства она причиняла порядочно — мешала спать, словно блоха.

Почти до рассвета не спал Громов, лежа на дне «пистолетной» щели, устроенной таким образом, что в нее можно было упрятаться и расчету и противотанковому ружью на тот случай, если германским танкистам удалось бы утюжить гусеницами наш передний край. Валькин дремал, прислонившись к стене ямы. Ему было холодно, и он то и дело натягивал на ляжки полы шинели. Громов сидел рядом с ним и постукивал зубами. «Керосинка» повесила ракету прямо над их головами, и в щели стало так неприятно светло, что Валькин проснулся. Он посмотрел на Громова и тихо, позевывая, сказал:

— Слышь, возьми мою шинель, ей-богу. А я так посижу, выспался я вроде.

— Ладно, спи, — ответил Громов.

Он никогда не был любезен со вторым номером, но сердцем помнил ворчливую и нежную заботу товарища. И Валькин, глядя иногда на угрюмого Громова, думал: «Этот уж вытащит меня, хоть без обеих ног останусь — не бросит, зубами утащит от немца».

— Волга где? — спросил Громов.

— Вроде на левой руке, — сказал Валькин.

— А справа холмики — это немец, — сказал Громов и

спросил: — Ты пряжку в сумке отстегнул? Патроны сподручней доставать будет.

— Весь магазин разложил, — ответил Валькин. — Тут и патроны, и гранаты, и сухари, и селедка — чего хочешь.

Он рассмеялся, но Громов даже не улыбнулся.

С восходом солнца начался бой. Сразу определилось, что главными запевалами были наши артиллеристы и немецкие минометчики. Они забивали все голоса боя — и пулеметные очереди, и треск автоматов, и короткое рявканье ручных гранат. Бронебойщики сидели впереди нашей пехоты, на «ничьей» земле; над их головами угрюмо завывали советские снаряды, за их спиной рвались германские мины, с змеиным шипом резавшие воздух; сухо барабанили сотни осколков и комьев земли. Перед глазами и за спиной бронебойщиков поднялись стены белого и черного дыма, серо-желтой пыли. Это принято называть «адом». И Громов среди этого ада прилег на дно щели, вытянул ноги и дремал.

Странное чувство внутреннего покоя пришло к нему в эти минуты. Он дошел, не сдал. Он дошел и донес свое ружье, он шел так исступленно, как идут в дом мира и любви, как идут больные путники домой, боясь остановок, охваченные одним лишь желанием увидеть близких. Ведь несколько раз в пути казалось — он упадет. И вот он дошел. Он лежал на дне щели, ад выл тысячами голосов, а Громов дремал, вытягивая натруженные ноги. Бедный и суровый отдых солдата...

Валькин сидел на корточках возле него и, шопотом ругаясь, глядел, как бушевала битва. Иногда мины шипели так близко, что Валькин прятал голову и быстро оглядывался на Громова — не видит ли первый номер его робости. Но Громов полуоткрытыми глазами смотрел в небо, лицо его было задумчиво и спокойно. Несколько раз шли немцы в атаку и отходили обратно: не могли прорваться сквозь огонь советской пехоты. И у Валькина нарастала тревога: он внутренне чувствовал, что с минуты на минуту должны появиться танки. Он поглядывал на Громова и беспокоился, сможет ли больной первый номер выдержать бой с немецкими машинами.

— Ты бы поел чего, а? — спросил он и добавил, желая вызвать Громова на разговор: — Говорил я старшине, чтоб сто грамм тебе дали, для лекарства прямо, от



*В дыму и пыли, поднятой рвущимися снарядами, двигались танки.*

живота, — не дал, чорт. А сам, небось, сколько хочешь потребляет.

Но и этот интересный разговор не поддержал Громов. Он лежал на спине и молчал.

Валькин внезапно припал к краю щели.

— Громов, идут! — закричал он пронзительно. — Идут, Громов, вставай!

И Громов встал.

В дыму и пыли, поднятой рвущимися снарядами, двигались огромные, быстрые и осторожные, одновременно тяжелые и поворотливые танки. Немцы решили прорубить путь пехоте.

Громов дышал шумно и быстро, жадным острым взором разглядывал танки, шедшие развернутым строем из-за невысокого холма.

Я спрашивал его потом, что испытал он в первый миг своей встречи с танками, не было ли ему страшно.

— Нет, какой там, не испугался. Даже наоборот, боялся, чтоб не свернули в сторону, а так страху никакого... Пошли в мою сторону четыре танки. Я их близко подпустил — стал одну на прицел брать. А она идет осторожно, словно нюхает. Ну, ничего, думаю, нюхай. Совсем близко, видать ее совершенно. Ну, дал я по ней. Выстрел из ружья невозможный, громкий, и отдачи никакой, только легонько совсем толкнуло, меньше, чем от винтовки. А звук прямо особенный, рот раскрываешь и все равно глохнешь. И земля даже вздрагивает. Сила! — И Громов погладил гладкий ствол своего ружья. — Ну, промахнулся я, словом. Идут вперед. Тут я второй раз прицелился. И так мне это весело, и зло берет, и интересно, ну прямо в жизни так не было. Нет, думаю, не может быть, чтобы ты немца не осилил, а в сердце словно смеется кто-то: «А вдруг не осилишь, а?» Ну ладно. Дал по ней второй раз. И сразу вижу — попал, прямо дух занялся: огонь синий по броне прошел, как искра быстрый. И я сразу понял, что бронебойный снарядик мой внутрь вошел и синее пламя это дал. И дымок поднялся. Закричали внутри немцы, так закричали — я в жизни такого крику не слышал, а потом сразу треск пошел внутри, трещит, трещит: это патроны рваться стали. А потом пламя вырвалось, прямо в небо ударило. Готов. Я по второй танке дал. И тут уж сразу, с первого выстрела. Пламя синее на броне, дымок пошел. Потом крик. И огонь с дымом снова. Дух у меня возрадовался, и хвори никакой, сразу вы-

здоровел. И гордо как-то себя чувствую. И так дух радуется, прямо не было со мной такого! Всему свету в глаза смотреть могу. Осилил я. А то ведь день и ночь меня мучило: неужели он меня сильней?..

Разговаривали мы с Громовым в степной балке. Солнце уже село, сумрак наполнил балку. Неясно чернели длинные противотанковые ружья, прислоненные к стенке овражка, прорытого весенней водой. Мерно посапывали, завернувшись в шинели, бронебойщики. Молча сидел подле Валькин, натягивал на мерзнущие ноги полы шинели. Лицо его было темным от загара и сумерек, казалось мрачным.

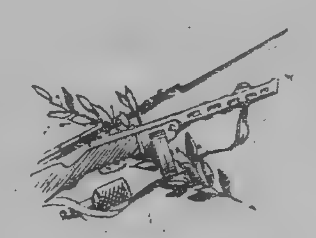
— Ты бы закрылся шинелью — больной ведь человек, — сказал он.

— Э, чего там! — Громов махнул рукой.

Его взволновал рассказ о первой встрече с танками. Глаза его словно светились в полутьме; они были совсем светлые, большие, зеленые, недобрые.

И я сидел рядом и смотрел на него молча — на больного солдата, осилившего немцев; на человека, которому было совсем не легко воевать; на пахаря земли, ставшего бронебойщиком не по случаю, не по велению начальства, а просто по доброй воле, от всей души.

*20 сентября 1942 г.*





# СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

В конце сентября одна наша гвардейская дивизия своими тремя стрелковыми полками с артиллерией, обозами, санитарной частью и тылами подошла к рыбачьей слободе на восточном берегу Волги, напротив Сталинграда. Марш был совершен необычайно стремительно — на автомашинах. День и ночь пылили грузовики по плоской заволжской степи. Коршуны, садившиеся на телеграфные столбы, становились серыми от пыли, поднятой движением сотен и тысяч колес и гусениц; верблюды тревожно озирались — им казалось, что степь горит: могучее пространство все клубилось, двигалось, гудело, воздух стал мутным и тяжелым, небо заволокло красной ржавой пеленой, и солнце, словно темная секира, повисло над тонущей во мгле землей.

Дивизия почти не делала остановок в пути, вода вскипала в радиаторах, моторы грелись, люди на коротких остановках едва успевали глотнуть воды и отряхнуть с гимнастерок тяжелую, мягким пластом ложившуюся пыль, как раздавалась команда: «По машинам!» — и снова моторизованные батальоны и полки, гудя, двигались на юг. Стальные каски, лица, одежда, стволы орудий, крытые чехлами пулеметы, мощные полковые минометы, машины, противотанковые ружья, ящики с боеприпасами — все сделалось рыжевато-серым, все покрылось мягкой теплой пылью. В головах людей стоял шум от гула моторов, от хриплого воя гудков и сирен — водители боялись столкновений в пыльной мгле дороги, все время жали на клаксоны. Стремительность движения захватила всех — и бойцов, и водителей, и артиллеристов. Только генералу

Родимцеву казалось, что его дивизия движется слишком медленно; он знал, что в эти дни немцы, прорвав нашу сталинградскую оборону, вырвались к Волге, заняли господствующий над городом и Волгой курган и продвигались по центральным улицам города. И генерал все торопил движение, все сокращал и без того короткие остановки.

Дорога повернула на юго-запад, и вскоре стали попадаться клены и вербы с красными стройными ветвями, с узкими серебристо-серыми листьями; вокруг раскинулись большие сады, засаженные приземистыми яблонями. И одновременно с приближением к Волге дивизия увидела темное высокое облако — его нельзя было спутать с пылью, оно было зловещим, быстрым, легким и черным, как смерть: то поднимался над северной частью города дым горящих нефтехранилищ. Большие стрелы, прибитые к стволам деревьев, указывали в сторону Волги; на них было написано: «Переправа», и надпись будила в солдатской душе тревогу; казалось, что черный ободок вокруг нее — из того смертного дыма, что стоит под горящим городом. Дивизия подошла к Волге в грозные для Сталинграда часы: нельзя было дожидаться ночной переправы. Люди торопливо сгружали с машин ящики с оружием и патронами, ломали крышки, вместе с хлебом получали гранаты, бутылки с горючей жидкостью, сахар, колбасу.

Переправа прошла с малыми потерями, настолько стремительно и смело была она проведена. Люди грузились на баржи, паромы, лодки. «Готово?» спрашивали гребцы. «Вперед полный!» кричали капитаны катеров, и серенькая подвижная полоска зыбкой воды между бортом и берегом вдруг начинала расти, шириться, волна тихо поплескивала у носа суденышка, и сотни глаз напряженно, внимательно глядели то на воду, то на поросший начавшей желтеть листвой низовой берег, то туда, где в беловатой дымке высился сожженный город, принявший жестокую и прекрасную судьбу.

На баржах, паромах, катерах и лодках молчали. О, почему не стоит над рекой душная и густая земная пыль! Почему так прозрачен и тонок голубоватый дымок горящих шашек! Головы тревожно поворачивались, все глядели на небо.

— Пикирует, паразит! — крикнул кто-то.

Метрах в пятидесяти от баржи вдруг выгнало из воды высокий и тонкий голубовато-белый столб с рассып-

чатой вершиной. Столб обвалился, обдав людей обильными брызгами, наплескав водой на дощатую палубу. И тотчас еще ближе вырос и обрушился второй столб, за ним третий. А в это время немецкие минометчики открыли беглый огонь по начавшей переправу дивизии. Мины рвались на поверхности воды, и Волга покрывалась рваными пенными ранами, осколки застучали по бортам баржи. Тихо вскрикивали раненые, так тихо, словно старались скрыть ранение от друзей, врагов, самих себя. А тут уж засвистели над водой винтовочные пули.

Был страшный миг, когда тяжелая мина ударила в борт небольшого парома. Блеснуло пламя, темным дымом закрыло паром, послышался звук взрыва и протяжный, точно родившийся из этого грохота людской вскрик. И тотчас тысячи людей увидели, как среди покачивающихся на воде древесных обломков зеленеют тяжелые стальные каски плывущих. Двадцать гвардейцев из сорока на пароме погибли.

И правда, страшен был этот миг, когда гвардейская дивизия, сильная, как Илья Муромец, не смогла помочь двадцати раненым, ушедшим под воду.

Ночью переправа продолжалась, и никогда, пожалуй, сколько существуют свет и тьма, люди так не радовались мраку сентябрьской ночи.

Генерал Родимцев провел эту ночь в напряженной деятельности. За время войны Родимцеву пришлось пройти через много испытаний. Его дивизия дралась под Киевом, она выбивала со Сталинки прорвавшиеся эсэсовские полки, она не раз разбивала кольцо окружения, переходя от обороны к бешеным атакам.

Мне часто приходилось встречать в армии больших патриотов своего полка, батареи, танковой бригады. Но нигде, пожалуй, не видел я такой привязанности, такого патриотизма, как здесь. В дивизии гордятся, конечно, в первую очередь своими боевыми делами, гордятся своим генералом, своей техникой. Но если послушать командиров, то нигде нет такого повара, умеющего мастерски печь пирожки, такого парикмахера, как Рубинчик, который не только замечательно бреет, но и артистически играет на скрипке. «О, наша дивизия!» только и слышишь во время разговоров. Когда кого-нибудь хотят пристыдить, говорят: «Что ты, ей-богу, делаешь! Ведь в нашей-то дивизии...» Часто также слышишь: «Вот скажу генералу... генерал будет доволен, генерал будет огорчен». Ра-

неные в госпиталях беспокоятся, как бы их не отправили в другую часть. Пишут письма товарищам, а по выздоровлении часто проделывают долгий и трудный путь, лишь бы разыскать свою дивизию.

Может быть, в эту ночь, когда последние подразделения переправились в Сталинград, генерал подумал, что дружба, связывающая людей, поможет ему воевать в этой тяжелой обстановке.

Наутро генерал Родимцев переправился в Сталинград на моторной лодке.

Что должна была предпринять дивизия, вступившая в строй обороняющих Сталинград войск? Дивизия, тыл которой находился за Волгой, командный пункт в пяти метрах от воды, а один полк был «отжат» немцами от остальных полков. Занять оборону, начать срочно окапываться, укрепляться в домах? Нет, не это. Положение было настолько тяжелым, что Родимцев прибегнул к иному, грозному, уже испытанному им под Киевом средству — он начал наступать! Наступать всеми полками, всеми средствами своего могучего огня, всей силой своего умения, всей стремительностью. Он начал наступать всей силой горького гнева, охватившего тысячи людей, увидевших в красном свете восходящего солнца тяжко израненный немцами город с его белыми домами, чудесными заводами, широкими улицами и площадями.

Солнце восхода смотрело на бронзового Хользунова, на орла с одним простертым крылом над обвалившимся зданием детской больницы, на белые фигуры нагих юношей, выделяющиеся на бархатно-черном фоне покрывшегося копотью пожара Дворца физкультуры, на сотни молчавших, ослепленных домов. И такими же налитыми кровью гнева и скорби глазами смотрели на изуродованный немцами город тысячи людей, переправившиеся через Волгу. Немцы не ожидали наступления, немцы настолько были уверены в том, что, методически отжимая наши войска к берегу, сбросят их в Волгу, что прочно не закрепляли занятое пространство. Гвардейский полк Елина и два других штурмовали занятые немцами районы города. Полк Елина пошел на штурм, не видя двух своих товарищей — полков. Но полк чувствовал и верил, что он не один принял тяжкий жребий: он чуял дыхание двух гвардейских полков близко, рядом, возле себя.

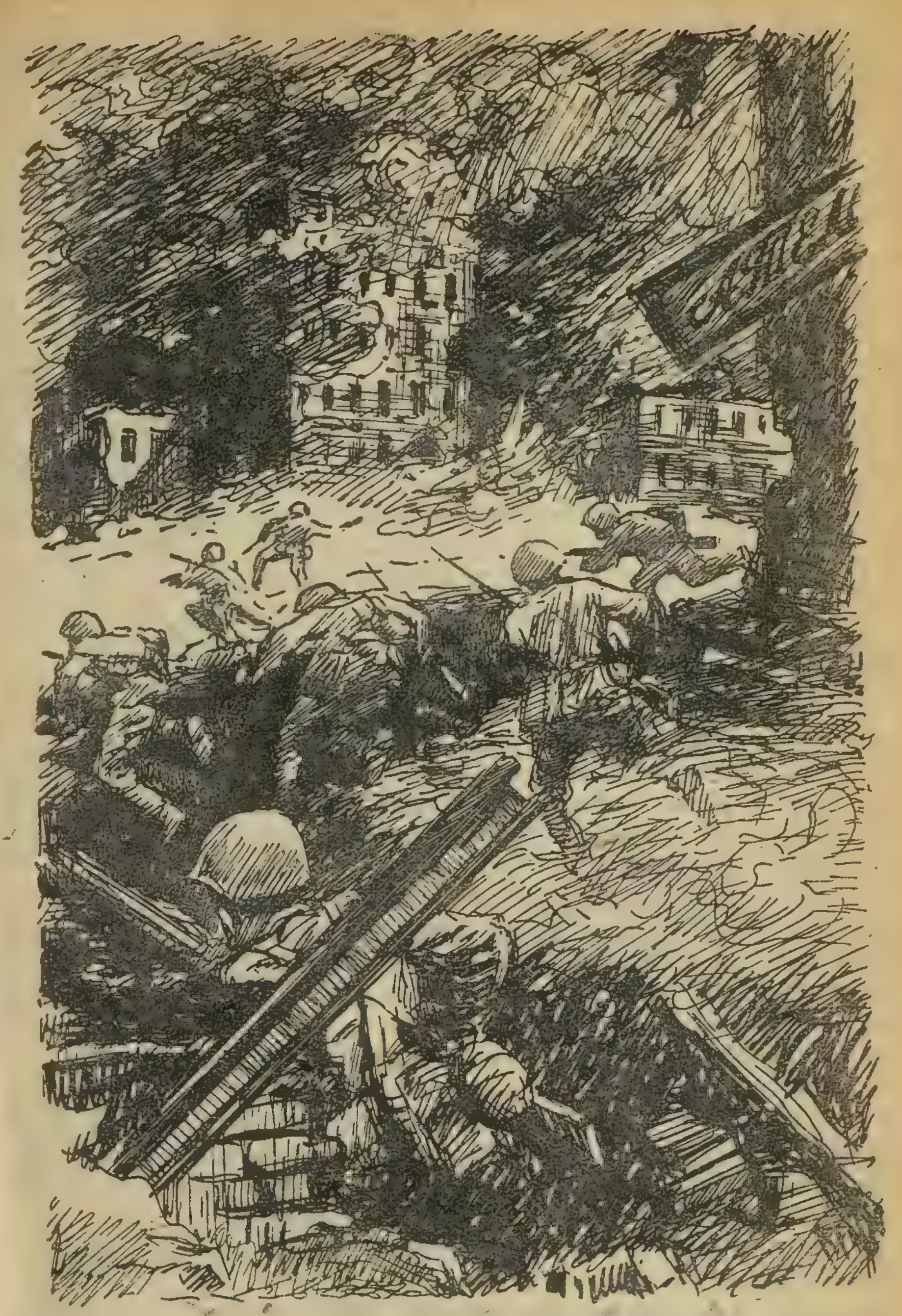
Полк Елина штурмом взял огромные здания — опорные пункты немцев.

Никогда еще не приходилось вести таких боев. Одно отделение в течение дня переходило из-за кустарников и деревьев, напоминающих рощи Белоруссии, в горную расщелину, где в полумраке нависающих над узким переулком стен приходилось пробираться по каменным глыбам обвалившегося брандмауэра; еще через час оно выходило на залитую асфальтом огромную площадь, во сто крат более ровную, чем донская степь, а к вечеру ему приходилось ползти по огородам, среди вскопанной земли и полуобгоревших поваленных заборов, совсем как в дальней курской деревеньке.

В одном здании немцы засели так прочно, что их пришлось поднять на воздух вместе с тяжелыми стенами. Шесть человек саперов под лютым огнем чующих смерть немцев поднесли на руках десять пудов взрывчатки и произвели взрыв. И когда на миг представишь себе эту картину: лейтенанта сапера Чермакова, двух сержантов — Дубового и Бугаева, саперов Клименко, Шухова, Мессерашвили, ползущих под огнем вдоль разрушенных стен, каждого с полуторапудовым запасом смерти; когда представишь на миг их потные, грязные лица, их потрепанные гимнастерки, представишь, как сержант Дубовой крикнул: «Не дрейфь, саперы!» и Шухов, кривя рот, отплевывая пыль, отвечал: «Где уж тут! Дрейфить раньше надо было!» — то, право же, чувство великой гордости охватывает. Ведь какие молодцы!

А пока Елин победоносно занимал здание за зданием, другие два полка штурмовали курган, с которым многое связано в истории Сталинграда, курган, известный со времен гражданской войны, курган, на котором играли дети, гуляли влюбленные, где катались зимой на санях и на лыжах. Место это на русских и немецких картах обведено жирным кружком. Место, о взятии которого немецкий генерал Тодт, вероятно, сообщил радостной радиограммой германской ставке. Там оно значится как «господствующая высота, с которой просматривается Волга, оба ее берега и весь город». А на войне то, что просматривается, то и простреливается. Страшные это слова — «господствующая высота»! Ее штурмовали гвардейские полки.

Много хороших людей погибло в этих боях. Многих не увидят матери и отцы, невесты и жены. О многих будут вспоминать товарищи и родные, вздыхать знакомые. Много тяжелых слез прольют по всей России о погибших в боях за курган. Недешево далась гвардейцам эта



*Гвардейский полк Елина и два других штурмовали занятые немцами районы города.*

битва. Красным курганом назовут его. Железным курганом назовут его — весь покрылся он колючей чешуей минных и снарядных осколков, хвостами-стабилизаторами германских авиационных бомб, темными от пороховой копоти гильзами, рубчатыми рваными кусками гранат, тяжелыми стальными тушами развороченных германских танков. Но пришел славный миг, когда боец Кентя сорвал немецкий флаг, бросил его оземь и наступил на него сапогом.

Полки дивизии соединились.

Начался второй период тяжкой битвы — оборонительная война с десятками внезапностей, мощными атаками немецких танков, жестокими налетами пикировщиков, снайперская война, в которой участвуют все виды огня — от винтовки до тяжелой пушки и пикирующего бомбардировщика; новый период со своим изумительным, странным, ни на что не похожим бытом. Ведь шли не только часы, шли дни и недели жизни в этом дымном аду, где ни на минуту не смолкали пушки и минометы, где гул танковых и самолетных моторов, цветные ракеты, разрывы мин стали так привычны для города, как некогда были привычны дребезжанье трамвая, автомобильные гудки, уличные фонари, многоголосый гул Тракторного завода, деловитые голоса волжских пароходов. И здесь ведущие битву создали свой быт — здесь пьют чай, готовят в котлах обеды, играют на гитаре, следят за жизнью соседей, беседуют.

Мы пошли на командный пункт дивизии в девять часов вечера. Темные воды Волги освещало разноцветными ракетами, они на невидимых стеблях склонялись над истерзанной набережной, и вода казалась то шелковисто-зеленой, то фиолетово-синей, то вдруг становилась розовой, словно вся кровь великой войны впадала в Волгу.

Пронзительно тонко свистел ночной воздух, разрезаемый пулями, отвратительно злорадно шипели германские мины, оскверняя волжский простор треском разрывов. В свете ракет видны разрушенные постройки, изрытая окопами земля, лепящиеся вдоль обрыва и оврагов блиндажи, глубокие ямы, прикрытые от непогоды кусками жести и досками.

— Слышь, обед приносили? — спрашивает боец, сидящий у входа в блиндаж.

Из темноты отвечает голос:

— Давно пошли, а вот нет их обратно. Либо залегли

где, либо не дойдут уж вовсе. Сильно очень бьет около кухонь.

— Вот паразит! Обедать охота... — недовольно говорит сидящий и зевает.

Командный пункт дивизии размещен в глубоком подвале, напоминающем горизонтальную штольню каменноугольной шахты; штольня выложена камнем, креплена бревнами, и, как в заправской шахте, по дну ее журчит вода.

Штаб дивизии находится в двухстах пятидесяти метрах от противника, соответственно расположены командные пункты полков и батальонов. «Связь с полками в случае прорыва, — шутя говорит работник штаба, — легко поддерживать голосом: крикнешь — услышат, а оттуда голосом в батальон передадут». Но обстановка командного пункта такая же, как обычно; она не меняется, где бы ни стоял штаб: в лесу, во дворце, в избе. И здесь, в подземелье, где все ходит ходуном от взрывов мин и снарядов, сидят, склонившись над картой, штабные командиры, и здесь связист кричит: «Луна, луна!», и здесь, скромно держа в рукаве махорочную папиросу и стараясь не дышать в сторону начальства, сидят в углу связные.

Голоса людей спокойны, подчас медлительны, движения неторопливы, часто видишь улыбающиеся лица, часто слышится смех. Люди ведут себя так, словно им легко, словно они шутя, без усилий творят самое трудное, самое тяжелое дело на земле. А ведь в штольне душно: когда входит сюда свежий человек, крупные капли пота сразу же выступают у него на висках, на лбу, он дышит часто и прерывисто. В штольне, словно у основания плотины, сдерживающей страшный напор рвущихся к Волге вражеских сил, пол, стены, потолок — все дрожит от напряжения; от тяжести взрывов бомб и ударов снарядов дребезжат телефоны, пляшет пламя в лампах и огромные неясные тени судорожно движутся на мокрых каменных стенах. А люди спокойны — они здесь, в этом горниле, были вчера, были месяц назад, будут завтра. Сюда несколько ночей назад прорвались немцы и бросали под откос ручные гранаты. Пыль, дым, осколки летели в штольню; из тьмы доносились выкрики команды на чуждом, дико звучавшем здесь, на волжском берегу, языке. И командир дивизии Родимцев оставался в этот роковой час таким же, как всегда: спокойным, с немного насмеш-

ливой речью, каждым размеренным своим словом закладывающий увесистый камень в пробитую вражеской силой плотину. И вражеская сила отхлынула.

Родимцев рассказывает мне о том, что в недавнем ночном штурме участвовали немецкие саперы.

Он говорит негромко и задумчиво, а ложечка на самодельном столе пляшет, подпрыгивает, точно ее охватил страх и она хочет убраться из этой гудящей штольни с мечущимися по стенам мутными тенями. Стрекотнул автомат, звук его хорошо слышен здесь.

— Вот это немец, — говорит Родимцев.

Он рассказывает обстоятельно, не торопясь:

— Война здесь подвижная, гибкая. Она то ночная, то дневная, то танковая, а бывает, что и танки, и авиация, и огневые налеты артиллерии и минометов концентрируются в одной точке. Немец нарочно меняет тактику. Но мы за месяц отлично научились воевать в этих условиях. Действуем большей частью мелкими группами. Во взятии дома у нас участвуют две группы: штурмовая и закрепления. Штурмуют люди, вооруженные гранатами, бутылками с горючей жидкостью, ручными пулеметами. А группа закрепления, пока еще штурмовая добивает противника, подтягивает боеприпасы, продовольствие, запасец не меньше чем на шесть дней — ведь часты случаи окружения. Вот сегодня пришли два бойца — оказывается, четырнадцать дней воевали в доме, окруженном «немецкими» домами. Эти двое спокойно эдак потребовали сухарей, боеприпасов, сахару, табаку, нагрузились и пошли. Говорят: у нас там двое остались, дом стерегут, курить хотят.

Я спросил его, не утомлен ли он этим круглосуточным напряжением боев, этим круглосуточным грохотом.

— Я спокоен, — сказал он. — Так нужно.

Он сказал это спокойно, негромким голосом. Потом он стал расспрашивать о Москве. Поговорили, как полагается, о театрах.

— У нас тут тоже были два концерта. Играл на скрипке в нашей трубе парикмахер Рубинчик.

И все вокруг заулыбались, вспомнив о концерте. А телефоны во время этого разговора звонили раз десять, и генерал, чуть-чуть поворачивая голову, говорил два-три слова дежурному по штабу.

Глубокой ночью мы ехали вдоль Сталинграда на мо-

торной лодке. Шесть километров дороги, несколько десятков минут по широкой волжской воде.

Волга кипела, синий пламень разрывов германских мин вспыхивал на волнах, выли несущие смерть осколки, угрюмо гудели в темном небе наши тяжелые бомбардировщики; сотни светящихся трасс, окрашенных в синий, красный, белый цвета, тянулись к ним от германских зенитных батарей; бомбардировщики изрыгали по немецким прожекторам белые трассы пулеметных очередей. Заволжье, казалось, потрясало всю вселенную могучим рокотаньем тяжелых пушек, всей силой великой нашей артиллерии. На правом берегу земля дрожала от взрывов; широкие зарницы бомбовых ударов вспыхивали над заводами: земля, небо, Волга — все было охвачено пламенем. И сердце чуяло — здесь идет битва за судьбы мира, здесь спокойно, торжественно среди пламени сражается наш народ.

*20 октября 1942 г.*



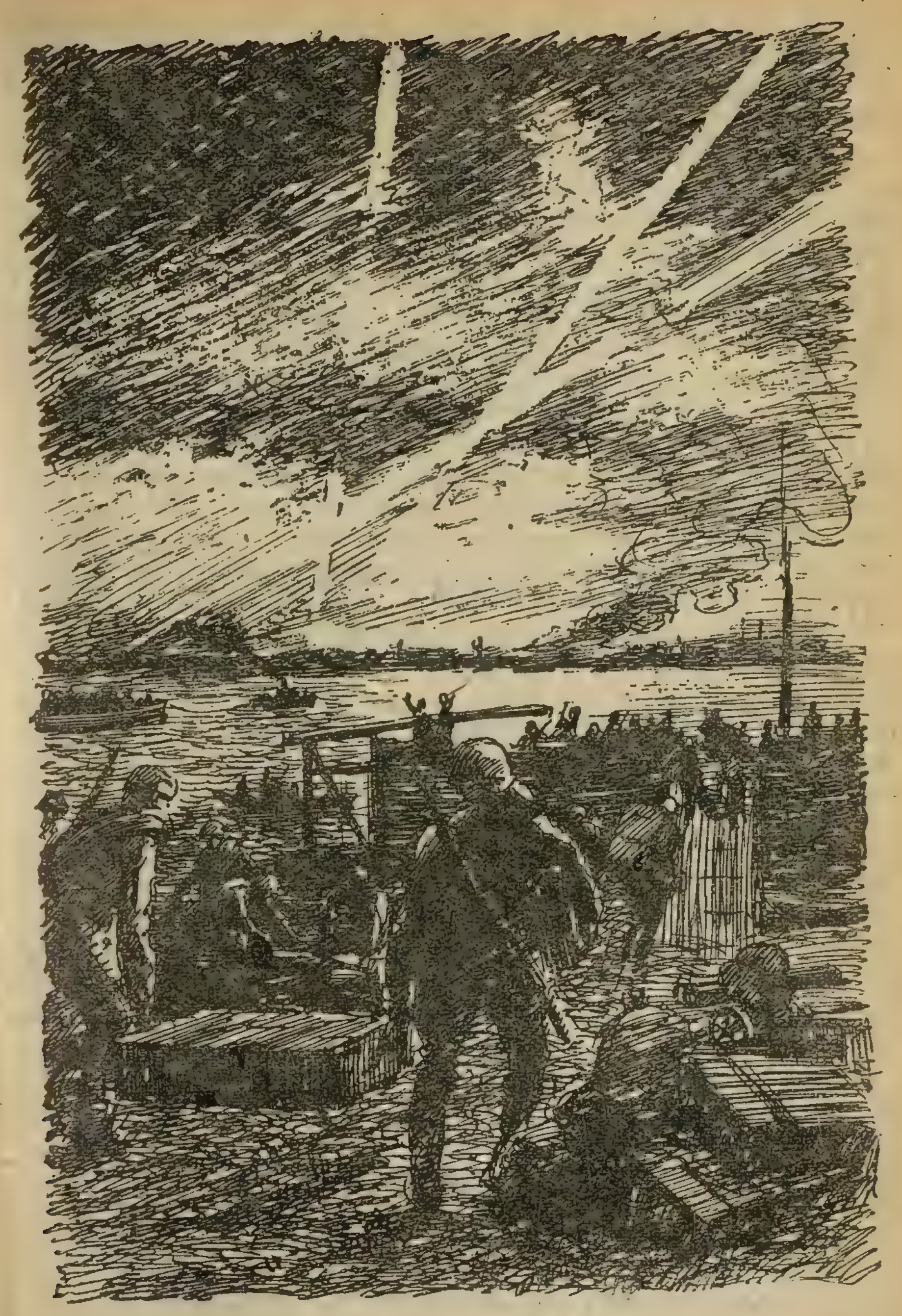


# ВЛАСОВ

Днем Волга пустынна, лишь темнеют силуэты потопленных у берега барж и пароходов. Ни лодки, ни дымка, ни натруженного дыхания буксира, ни рыбачьего серого паруса не увидишь и не услышишь на Волге. Темная вода бежит под облачным небом, холодом веет от нее. Низкий берег, поросший лесом, так же пустынен, как Волга. Но почему с такой яростью, с упорством взбесившегося быка немец уродует тысячами тяжелых снарядов и мин пустынную полоску берега? Почему с утра до заката солнца вьются над этой бедной полоской земли десятки немецких пикировщиков, с угрюмым бешенством бомбят кажущуюся пустой землю?

Здесь переправа. И едва сгущаются сумерки, из землянок, блиндажей, траншей, из тайных укрытий выходят люди, держащие переправу. Это по ним немцы в последние недели выпустили восемь тысяч мин и пять тысяч снарядов, это на них обрушилось за полторы недели пятьсот пятьдесят авиационных бомб. Земля на переправе вспахана злым железом, словно безумные кони, ведомые обезумевшим пахарем, дни и ночи коверкали, рвали, карежили огромными лемехами плуга бедный клочок прибрежной земли.

В сумерках появляется темный высокий силуэт негруженой баржи. Хозяйским хриплым баском покрикивает буксирный пароходик. Словно по чьему-то слову, чудесно оживает все вокруг: жужжат буксующие в песке грузовики, красноармейцы, покряхтывая, несут плоские ящики со снарядами, бутылками с горючей жидкостью, патроны, гранаты, хлеб, сухари, колбасу, пакеты пищевых концентратов. Баржа оседает все ниже и ниже. А немецкий



*Люди работают, как работали всегда на Волге: тяжело и дружно.*

огонь не прекращается ни на минуту. Но теперь он не прицельный, наблюдатели противника не видят, что происходит на берегу, не видят темной шири реки. Мины со свистом перелетают через Волгу, рвутся, освещая на миг красными вспышками деревья, холодный белый песок. Осколки, пронзительно голося, разлетаются вокруг, шуршат меж прибрежной лозы. Но никто не обращает на них внимания.

Погрузка идет стремительно, слаженная, великолепная своей будничностью. Под огнем немецких минометов и артиллерии люди работают, как работали всегда на Волге: тяжело и дружно. Их работа освещена пламенем горящего Сталинграда. Ракеты поднимаются над городом, и в их стеклянно-чистом свете меркнет мутное, дымное пламя пожаров. Тысяча триста метров волжской воды отделяют причалы лугового берега от Сталинграда. Не раз слышали бойцы понтонного батальона, как в короткой тишине над Волгой проносился приглушенный, кажущийся издали печальным звук человеческих голосов: «а-а-а...» — то поднимается в контратаку наша пехота.

Это протяжное «ура» пехоты, дерущейся в пылающем Сталинграде, этот вечный огонь, дымное дыхание которого доходило через широкую воду, придавали бойцам переправы силу творить свой суровый подвиг. Все они понимали значение своей работы.

Переправа питает сталинградские дивизии хлебом и снаряжением. Танки, полки пополнения — все идет через переправу. И переправа работает: идут к Сталинграду баржи, лодки, тральщики, моторные катеры. Работал до последнего времени штурмовой мостик, наведенный с острова на правый берег Волги. Его строили у берега. Стук сотен топоров и визг пил, режущих сосновые и еловые бревна, заглушали в людских сердцах тревогу, трудовой гул покрывал шум германских воздушных моторов, раскаты артиллерийской стрельбы. Люди за трое суток построили мост через Волгу — шестьдесят пять станов плотов с двумястами балками-поперечинами были скреплены цинковым тросом, прочными планками, покрыты тесом.

Мост завели верхним концом по течению, и вода стала заносить его на правый берег. Шесть человек внесли на мост пятнадцатипудовый якорь. И когда мост стал подходить к правому берегу, якорь спустили в воду. Штурмовой мостик лег через Волгу. Вероятно, из того количества металла, которое потратили немецкие летчики,

артиллеристы и минометчики на разрушение этого штурмового мостика, сделанного из сосны и ели, можно было бы создать конструкцию огромного железного моста.

Бойцы понтонного батальона все почти ярославцы. Живут ярославцы на редкость дружно, большим братским землячеством.

Заместитель командира батальона по политической части Перминов, сам волгарь, человек с темнокрасным от солнца и речного ветра лицом, находится на переправе с первого дня. Голос у него громкий, привыкший к команде, привыкший перекрикивать грохот рвущихся снарядов; он даже во время бесед говорит, словно команду отдает.

— Эх, люди у нас в батальоне, — говорит Перминов, — золото-люди! Гордятся: мы ярославцы. Недавно в газете статья была большая о Ярославле, так эту газету вконец зачитали, собрание устроили — обсуждали. Как петухи, гордятся: «Про наш Ярославль как пишут!» И вот удивительная вещь: ведь работа на переправе — горькое дело, последние дни авиация тучей над нами висит. Поверите ли, за один день насчитали мы тысячу восемьсот заходов! Глохнешь от этого воя и рева, а люди так любят свой батальон, так своей работой гордятся, что заикнитесь только об откомандировании человека — трагедия будет. Эвакуировали мы на-днях в тыл двух раненых красноармейцев: Волкова и Лукьянова. Особенно досталось Волкову: в шею ему осколок попал и лопатку рассекло. Проходит несколько дней. Зовут меня красноармейцы: Волков и Лукьянов явились! Я глазам своим не поверил: ведь тридцать километров то попутными машинами, то ползком добирались. И как-то трогательно до слез и зло берет: ведь удрали, черти, из госпиталя! Что с ними тут делать? Их ведь лечить надо, а под огнем, в земле сидя, какое лечение? Дождались ночи, посадили их на машину и обратно отправили в госпиталь. И они от обиды плакали, и у нас всех такое чувство было, словно мы нехорошее дело сделали. Да, народ привык к вечному огню, сам удивляешься.

Днем переправа не работает. Днем безлюден берег, пустынна Волга; темная вода бежит под облачным осенним небом — холодом веет от нее. Лишь изредка промчится среди бурунов пены, резко меняя курс, быстроходный моторный катер с мощным зисовским мотором. Гудит берег от бомбовых разрывов, летят в воздух тучи

земли, дыма, желтая листва осенних деревьев. Зловеще свистят над водой мины, пущенные из тяжелых немецких минометов. С рассветом понтонный батальон отдыхает. Похрапывают в блиндажах и землянках бойцы под оглушительный рев немецкой авиации, с тупым бешенством карежущей землю.

— Как можно спать при такой бомбежке? — спрашиваю я бойцов.

— Да вот спим, — говорят понтонеры. — День не поспишь, второй не поспишь, а потом ляжешь. Да поустанешь как следует и все равно заснешь.

И здесь, на переправе, идет во время дневного отдыха обычная жизнь. Кухни, зарытые в землю, варят обед, русская печь, хитро и умело построенная в земле, печет пышный, легкий подовый хлеб, и пекари посмеиваются, гордятся своим отличным мастерством. Бойко работает подземная баня, и отчаянно парятся в ней, лупцуют себя вениками сорокалетние бойцы сталинградской переправы, пока вокруг них, совсем рядом, рвутся тяжелые бомбы немецких пикировщиков. При слабом свете, проникающем в блиндаж, пишут бойцы письма, не забывают послать поклон всей близкой и дальней родне, чтоб, не дай бог, не обидеть невниманием деда Ивана Дмитриевича или бабку Марию Семеновну. А о себе пишут в этих письмах сурово и кратко: «Живу хорошо. Пока жив».

И ничто не изменит справедливого отношения бойца к жизни.

Немцы неистовствуют над полосой волжского берега. Немецкие летчики разнесли прямым попаданием бомбы русскую печь, где пекся хлеб, но печь снова отстроили. Воздушной волной снесло трубу с бани, но снова дымит труба и парится в бане ярославец. В блиндаж заместителя командира батальона вбежал повар и одновременно веселым и злым голосом крикнул:

— Разрешите доложить: кухня во второй роте взлетела, вся чисто, вместе со щами. Двухсоткой, прямое попадание!

— Немедля варить второй обед в котле, — сказал Перминов.

Жизнь упряма, крепок наш человек — его не сломать всей силой немецкого огня. Но тяжело ему. Пусть никто не думает, что легко здесь воевать, что привычка к огню снимает тяжесть войны. Смерть идет рядом с жизнью, дороги их здесь слились. Недалеко от штаба — кладбище.

Среди желтых опавших листьев стоят строгие холмики — могилы, простые дощатые памятники с фамилией, именем, датой смерти.

Когда-нибудь здесь будет стоять суровый и темный гранитный обелиск, памятник героям сталинградской переправы. И люди прочтут на нем имена двадцати восьми бойцов-ярославцев, прочтут имя комбата Смеречинского, основателя переправы, прочтут имя его преемника — чеченца капитана Езаева, прочтут о Шоломе Аксельроде, командире технического взвода, убитом миной при наведении переправы. И людям расскажут, как в темные ночи, как при свете полной луны, когда Волга горела синим огнем, молча стоял у раскрытой могилы батальон, какую речь говорил бойцам Перминов и как сурово гремел в холодном осеннем воздухе салют.

Часто бывает, что один человек воплощает в себе все особенные черты большого дела, большой работы. И, конечно, именно сержант Власов — великий труженик мирных времен, шестилетним мальчиком пошедший за бороной, отец шестерых старательных, небалованых ребят, человек, бывший первым бригадиром в колхозе и хранителем колхозной казны, — и есть выразитель суровой и будничной героичности сталинградской переправы.

Власов — человек долга. В колхозе народ в его бригаде покряхтывал иногда: очень уж суров был этот никогда не улыбающийся темнолицый человек с карими, тяжело и яростно глядящими глазами. Дома ребята побаивались отца, бывал он строгонек с ними, и даже старший сын, служащий теперь в гвардии, робел, когда Павел Власов говорил ему: «Алексашка, гляди у меня! Я не баловал в жизни, не вильнул ни разу, и ты не балуй!»

Власов был колхозным казначеем, на руках у него хранились большие тысячи. Когда колхоз сплавлял лес по Волге, Власова избрали главным бригадиром на плотах — уж больно хорошо знали его плотовщики. Получив извещение из военкомата, Власов пошел в правление, сдал все деньги до копейки, отчитался в своей бригадирской работе, простился со стариками и сказал уходя: «Работал я честно, в колхозе не последним был, а убьют на войне — за мной долгов не останется, во всем отчитался». Дома он простился с семьей просто и сурово, словно уходил в поле или лес заготовлять, велел детям слушаться мать, писать, как справляются с работой.

Провожали его родные без водки, без песен — Власов

не пил вина. Взял он в мешок смену белья, стираных портянок, хлеба, десяток луковиц, соли и пошел в ночь, высокий, прямой, с плотно сжатыми губами, пошел, не оглянувшись на родную деревню, — человек могучей души, ни разу не слукавивший перед народом и самим собой, жестоко и неистово требовательный к другим и к себе.

И вот сержант Власов строит штурмовой мостик от острова к заводскому берегу. Трое суток, семьдесят пять часов, не спал он, не ел щей, лишь торопливо во время короткой передышки съедал ломоть хлеба, запивал его несколькими глотками волжской воды и вновь брался за топор. В этой исступленной жестокой работе узнали Власова бойцы его отделения, товарищи по походам и боевым трудам, живущие с ним в одном блиндаже: Мальков, Лукьянов, Новожилов, узнали все бойцы понтонного батальона, научились любить и уважать суровую, железную силу его. Не только любить, но и бояться ее.

Здесь, на волжской переправе, во всю высоту распрямилась фигура Власова. В долгие осенние ночи, глядя на сумрачные лица бойцов, переправляющихся через Волгу, на тяжелые танки и пушки, поблескивающие в свете горящих нефтехранилищ, глядя на сотни раненых в рыжих от пропитавшей их крови, изодранных осколками шинелях, прислушиваясь к мрачному вою германских мин и к далекому протяжному «ура» нашей пехоты, поднимающейся на контратаки, думал Власов одну тяжелую, большую думу.

Вся сила его духа обратилась к одной цели: держать переправу нашего войска. Это дело было свято. Это дело стало единственной целью, смыслом его жизни. И всякий человек, мешавший работе переправы, становился для Власова смертным врагом, будь он хоть сын ему, хоть брат.

Был такой случай. Немец разбил пристань на правом берегу. Власову с его отделением приказали на быстроходном моторном катере переправиться через Волгу, исправить причал. День был ясный, светлый, и немец, едва увидев катер, открыл огонь — вода вскипала от частых разрывов. Шофер-моторист Ковальчук изменил курс, причалил к острову и сказал:

— Вылезайте. На тот берег не пойду, мне жизнь дороже разных там причалов.

Как только не просил, не уговаривал его Власов!

— Вылазь к чертям собачьим! — кричал Ковальчук. —

Я на переправе работать не буду. Лучше в плен попасть, чем здесь работать.

Власов рассказал мне об этом случае тяжелыми, медленными словами. Вот дословно его рассказ:

— Знал бы я мотор, я бы его живо спешил... Весь день мы по острову, как зайцы, бегали. А обратно нас лодки с острова тоже не везут: «дезертиры вы», говорят. Пришлось хитрость делать — перевязали себя бинтами. Змеев, тот ногу подвязал, палку в руки взял. Перевезли под видом раненых. Такого со мной в жизни не было. Никогда я в жизни не хитрил. А переправа полночи не работала. Вот оно что... Через несколько дней выстроили батальон, вывели этого. Прочел Перминов приговор, сказал слово про кровь сотен и тысяч бойцов. Стал этот проситься, плакал. Да какая тут жалость! Будь моя воля — я б его без приговора растерзал. Целый день, как заяц, бегал...

Темное лицо Власова спокойно и неподвижно, яркие карие глаза его смотрят прямо на меня, впалые щеки и упрямый рот придают всему облику его выражение скорбное и суровое. В нем, в этом сорокадвухлетнем человеке, отце шестерых детей, человеке великого и тяжкого трудового долга, словно воплотилась гневная сила нашего народа...

— Потом Перминов сказал: «Кто хочет привести приговор в исполнение?» Я вышел из строя, взял у товарища винтовку и пристрелил того. Какая тут жалость!

И вот сержант Власов стоит на носу тяжелой баржи, медленно плывущей через Волгу. На барже четыре тысячи тонн снарядов, гранат, ящиков с горючей жидкостью, на барже четыреста красноармейцев. Эта баржа идет днем, положение таково, что некогда дожидаться ночи. Власов стоит, прямой, угрюмый, и смотрит на разрывы мин, пенящие воду.

Он оглядывает молодых бойцов, стоящих на барже. Он видит: людям страшно. И сержант Власов, человек с черными, начавшими серебриться волосами, говорит молодому бойцу:

— Ничего, сынок, хоть бойсь, не бойсь — нужно!

Тяжелая мина прошипела над головой и взорвалась в десяти метрах от баржи, несколько осколков ударилось о борт, и тотчас вторая мина разорвалась, не долетев.

— Сейчас угодит, подлец, по нас, — сказал Власов и посмотрел на бойцов, легших вдоль борта.

Мина пробила палубу недалеко от выезда, проникла в трюм и там взорвалась, расщепила борт на метр ниже воды. Наступил страшный миг. Люди заметались по палубе. И страшней вопля раненых, страшней тяжелого топота сапог, страшней, чем разнесшийся над водой крик: «Тонем!», был глухой и мягкий шум воды, ворвавшейся в развороченный борт баржи. Катастрофа произошла посредине Волги. И в эти страшные минуты, когда в полуметровую дыру хлестала вода, когда страх смерти охватил людей, сержант Власов сорвал с себя шинель и страшным усилием, преодолевая напор воды — плотной, словно стремительный свинец, сильной, словно вся Волга напружилась своим огромным, тяжким телом, чтобы прорваться в пробоину, — втиснул свернутую кляпом шинель в эту пробоину, навалился на нее грудью.

Несколько мгновений, пока подоспела помощь, длилось это единоборство человека с рекой. Пробоину забили. Власов уже был наверху, он перевалился всем телом за борт, сержант Дмитрий Смирнов держал его за ноги, а Власов, с лицом, налившимся темной кровью, шпаклевал мелкие пробоины паклей.

Обстрел продолжался. И едва баржа была спасена от потопления, как раздался крик: «Горит, пламя пошло!» Это загорелись бутылки с горючей жидкостью.

Власов, покоривший своей железной душой всех, кто был на барже, закричал:

— Скидай шинели, плащ-палатки сюда давай!

И пламя, сжигающее стальные танки, было потушено здесь, на барже, везущей четыре тысячи тонн боеприпасов.

Власов прошел на нос и снова стал на посту.

Боеприпасы, четыреста бойцов достигли сталинградского берега.

Мне кажется, что этого человека можно назвать великим человеком.

*4 ноября 1942 г.*





# ГЛАЗАМИ ЧЕХОВА

Много дней и много ночей эти всевидящие глаза смотрят с пятого этажа разрушенного дома на город. Эти глаза видят улицу, площадь, десятки домов с провалившимися полами, пустые мертвые коробки, полные обманчивой тишины. Эти коричневые круглые, чуть желтые, чуть зеленоватые глаза — не поймешь, светлые они или темные — видят далекие холмы, изрытые немецкими блиндажами, они считают дымки костров и кухонь, машины и конные обозы, подъезжающие к городу с запада. Иногда бывает очень тихо, и тогда слышно, как в доме напротив, где сидят немцы, обваливаются небольшие куски штукатурки, иногда слышна немецкая речь и скрип немецких сапог. А иногда бомбежка и стрельба так сильны, что приходится наклоняться к уху товарища и кричать во весь голос, и товарищ разводит руками, показывает: «Не слышу».

Анатолию Чехову идет двадцатый год. Он прожил невеселую жизнь. Сын рабочего химического завода, этот юноша с ясным умом, добрым сердцем и недюжинными способностями, обожавший книги, знаток и любитель географии, мечтавший о путешествиях, любимый товарищами, соседями, завоевавший неприступные сердца рабочих-стариков своей готовностью помочь обиженному, он с десятилетнего возраста познал темные стороны жизни. Отец его пил, жестоко и несправедливо обращался с женой, сыном, дочерьми. Года за два до войны Анатолий Чехов оставил школу, где шел по всем предметам круглым отличником, и поступил работать на казанскую фабрику. Он легко и быстро овладел многими рабочими спе-

циальностями, стал электриком, газосварщиком, аккумуляторщиком, незаменимым и всеми уважаемым мастером.

29 марта 1942 года его вызвали повесткой в военкомат, и он попросился в школу снайперов.

— Вообще я в детстве не стрелял ни из рогатки, ни из чего, жалел бить по живому, — говорит он. — Ну, я хотя в школе снайперов шел по всем предметам отлично, при первой стрельбе совершенно оскандалился — выбил девять очков из пятидесяти возможных. Лейтенант сказал мне: «По всем предметам отлично, а по стрельбе плохо. Ничего из вас не выйдет».

Но Чехов не стал расстраиваться, он добавил к дневным часам занятий долгое ночное время. Десятки часов подряд читал теорию, изучал боевое оружие. Он очень уважал теорию и верил в силу книги; он в совершенстве изучил многие принципы оптики и мог, как заправский физик, говорить о законах преломления света, о действительном и мнимом изображении, рисовать сложный путь светового луча через девять линз оптического прицела.

Лейтенант ошибся — при стрельбе из боевого оружия по движущейся мишени Чехов поразил «в головку» всеми тремя данными ему патронами маленькую юркую фигурку. Он кончил снайперскую школу отличником, первым, и сразу же попросился в часть добровольцем, хотя его оставили инструктором — учить курсантов снайперской и обычной стрельбе, пользованию автоматом и различными гранатами. Так уж повелось, что в школе, и на производстве, и в военном деле он легко и в совершенстве овладевал пониманием различных предметов.

Этому юноше, которого все любили за доброту и преданность матери и сестрам, не пулявшему в детстве из рогатки, ибо он «жалел бить по живому», захотелось пойти на передовую.

— Я хотел стать таким человеком, который сам уничтожает врага, — сказал мне Чехов.

На марше он тренировал себя по определению расстояния без оптического прибора. Анатолий загадывал: «Сколько до того дерева?» — и шагами проверял. Сперва получалась полная ерунда, но постепенно он научился определять большие расстояния наглаз с точностью до двух-трех метров. И эта нехитрая наука помогла ему на войне не меньше, чем знание сложной оптики и законов движения луча через комбинацию девяти двояковыпуклых и выгнутых линз.

Первые свои сталинградские дни Чехов командовал пехотным отделением, а затем минометным взводом. Чехов сам себе ставил задачи и сам остроумно и тонко решал их, и в этих решениях ему приходилось напрягать не только свои сильные молодые руки и ноги, ясные совершенные глаза, но и думать, думать напряженно, быстро, трудно, как, пожалуй, не случалось ему при решении самых сложных задач по физике и алгебре, которые любил для устрашения школяров закатывать педагог.

Чехов получил свою снайперскую винтовку перед вечером. Долго обдумывал он, какое место занять ему — в подвале ли, засесть ли на первом этаже, укрыться ли в груде кирпича, выбитого тяжелой фугаской из стены многоэтажного дома. Он осматривал медленно и пытливо дома переднего края нашей обороны — окна с обгоревшими лоскутами занавесок, свисавшую железными спутанными космами арматуру, прогнувшиеся балки межэтажных перекрытий, обломки трельяжей, потускневшие в пламени никелированные остовы кроватей. Его пытливый глаз ловил и фиксировал все мелочи. Он видел велосипеды, висевшие на стенах над пропастью пяти обвалившихся этажей; он видел поблескивающие осколки зеленоватых хрустальных рюмок, куски зеркала, порыжевшие и обгоревшие усы финиковых пальм на подоконниках, покоробившиеся куски жести, развеянные дыханием пожара, словно легкие листы бумаги, обнажившиеся из-под земли черные кабели, толстые водопроводные трубы — мышцы и кости города.

Чехов сделал выбор — он вошел в парадную дверь высокого дома и по уцелевшей лестнице стал подниматься на пятый этаж. Местами ступени были раздроблены. Этажи различались лишь по разной окраске стен: квартира второго этажа была розовой, третьего — темносиней, четвертого — фисташковой, с коричневой панелью. Чехов поднялся на площадку пятого этажа: это было то, что он искал. Обвалившаяся стена открывала широкий обзор: прямо и несколько наискосок стояли занятые немцами дома, влево шла прямая широкая улица, дальше, метрах в шестистах-семистах, начиналась площадь. Все это было немецким. Чехов устроился на лестничной площадке у остроконечного выступа стены, устроился так, чтобы тень от выступа падала на него. Он становился совершенно невидимым в этой тени, когда вокруг все освещалось солнцем. Винтовку он положил на чугунный

узор перил, поглядел вниз. По пустынной улице шли два немецких солдата. Они остановились в ста метрах от того места, где сидел Чехов. Четыре минуты юноша смотрел на немцев. Он медлил. Это чувство нерешительности знакомо почти всем снайперам перед первым выстрелом. О нем рассказывал Чехову знаменитый Пчелинцев, приезжавший в школу снайперов и вспоминавший о своем первом снайперском, охотничьем выстреле по фашистскому солдату. Немцы прошли.

Вскоре наступила ночь. Голубое небо стало темносиним. Словно серые тихие покойники, стояли высокие обгоревшие дома. Взошла луна. Она стояла в небесном зените, большая, ясная, — толстое стальное зеркало танкиста, равнодушно отражающее жестокую картину битвы. Луна была медово-желтой, спелой, а свет ее, словно отделившийся от меда сухой белый воск, казался легким, не имеющим ни вкуса, ни запаха, ни тепла. Этот восковой белый свет тонкой пленкой лег на мертвый город, на сотни безглазых домов, на поблескивающий, как лед, асфальт улиц и площадей.

Чехову вспомнились книги о развалинах древних городов, и страшная, горькая боль сжала его молодое сердце. Ему показалось, что он задыхается, так остро и мучительно было желание увидеть этот город свободным, вновь ожившим, шумным, веселым, вернуть из холодной степи эти тысячи девушек, которые, кутаясь в шубки, ожидали на грейдере попутных машин; этих мальчишек и девчонок, со старческой серьезностью провожавших глазами идущие в сторону Сталинграда войска; этих стариков, кутающихся в бабьи платки; городских бабушек, надевших поверх кацавеек сыновьи пальто и шинельки.

Тень мелькнула по карнизу. Бесшумно прошла большая сибирская кошка, распушив хвост. Она поглядела на Чехова, глаз ее засветился синим электрическим огнем.

Где-то в конце улицы залаяла собака, за ней вторая, третья... Послышался сердитый голос немца, пистолетный выстрел, отчаянный визг собаки и снова злобный, тревожный и дружный лай: это верные жилью псы мешали немцам шарить в ночное время по разрушенным квартирам.

Чехов приподнялся, посмотрел: в тени улицы мелькали быстрые темные фигуры — немцы несли к дому мешки, подушки. Стрелять нельзя было — вспышка выстрела



*Взошла луна. Она стояла в небесном зените, большая, ясная, равнодушно отражая жестокую картину битвы.*

сразу же демаскировала бы снайпера. «Эх, чего наши смотрят!» подумал с тоской Чехов, и сразу же, едва появилась у него эта мысль, где-то сбоку густо, с железной злобой заработал советский пулемет. Чехов встал и осторожно, стараясь не хрустеть блестящими при луне осколками стекол, стал спускаться вниз.

В подвале здания разместилось пехотное отделение. Сержант спал на никелированной кровати, бойцы лежали на полуобгоревших обрывках плюшевых и шелковых одеял. Чехову налили чаю в жестяную кружку; чайник только что вскипел, и края кружки обжигали рот. Есть Чехову не хотелось, и он отказался от пшенной каши, сидел на кирпичиках, рассматривал пепельницу с надписью «Жена, не серди мужа» и слушал, как в темном углу подвала красноармеец сталинградец рассказывал о былой жизни: какие были кино, какие картины в них показывали, о водной станции, о пляже, о театре, о слоне из зоологического, погибшем при бомбежке, о танцовальных площадках, о славных девчатах. И, слушая его, Чехов все еще видел перед собой картину мертвого Сталинграда, освещенного полной луной. Он рано, с самых детских лет, познал тяжесть жизни. «Отец часто шумел — мне и читать и уроки учить трудно было, своего уголочка не имел», печально сказал он мне. Но в эту ночь он впервые во всей глубине понял страшную силу зла, принесенного немцами нашей стране; он понял, что малые горести и невзгоды ничто по сравнению с великой народной бедой. И его молодое и доброе сердце стало горячим, оно жгло его.

Сержант проснулся, заскрипел пружинной кроватью и спросил:

— Ну что, Чехов, много на почин убил сегодня немцев?

Чехов сидел задумавшись, потом вдруг сказал бойцам, вернувшимся недавно из боевого охранения и налаживавшим патефон:

— Ребята, патефон сегодня я прошу не заводить.

Утром он встал до рассвета, не попил, не поел, а лишь налил в баклажку воды, положил в карман несколько сухарей и поднялся на свой пост. Он лежал на холодных камнях лестничной площадки и ждал. Рассвело, кругом все осветилось, и так велика была жизненная сила молодого утреннего солнца, что даже несчастный город, ка-

залось, печально и тихо улыбнулся. Только под выступом стены, где лежал Чехов, стояла холодная серая тень. Из-за угла дома вышел немец с эмалированным ведром. (Потом уже Чехов узнал, что в это время солдаты всегда ходят с ведрами, носят офицерам мыться.) Чехов повернул дистанционный маховичок, поплыл кверху крест нитей — он отнес прицел от носа солдата на четыре сантиметра вперед и выстрелил. Из-под пилотки мелькнуло что-то темное, голова мотнулась назад, ведро выпало из рук, солдат упал на бок. Чехова затрясло. Через минуту из-за угла появился второй немец; в руках его был бинокль. Чехов нажал спусковой крючок. Потом появился третий — он хотел пройти к лежавшему с ведром, но не прошел. «Три!» сказал Чехов и стал спокоен. В этот день много видели глаза Чехова. Он определил дорогу, которой немцы ходили в штаб, расположенный за домом, стоявшим наискосок, — туда всегда бежали солдаты, держа в руке белую бумагу — донесение.

Он определил дорогу, по которой немцы подносили боеприпасы к дому напротив, где сидели автоматчики и пулеметчики. Он определил дорогу, которой немцы несли обед и воду для умывания и питья. Обедали немцы всухомятку — Чехов знал их утреннее и дневное меню: хлеб и консервы. Немцы в обед открыли сильный минометный огонь, вели его примерно тридцать-сорок минут и после кричали хором: «Русс, обедать!»

Это приглашение к примирению привело Чехова в бешенство. Ему, веселому, смешливому юноше, казалось отвратительным, что немцы пытаются заигрывать с ним в этом трагически разрушенном, несчастном и мертвом городе. Это оскорбило чистоту его души, и в обеденный час он был особенно беспощаден. Он быстро научился отличать солдат от офицеров. У офицеров были тужурки, фуражки; они не носили поясного ремня, ходили в ботинках. Солдат он сразу отличал по сапогам, ремню, пилотке. Ему хотелось, чтобы немцы не ходили по городу во весь рост, чтобы они не пили свежей воды, чтобы они не ели завтраков и обедов. Он зубами скрипел от желания пригнуть их к земле, вогнать в самую землю.

Юный Чехов, любивший книги и географию, мечтавший о далеких путешествиях, нежный сын и брат, не стрелявший в детстве из рогатки, — «жалел бить по живому», — стал страшным человеком: истребителем оккупантов. Не в этом ли железная, святая логика Отечественной войны?

К концу первого дня Чехов увидел офицера. Офицер шел уверенно; из всех домов выскакивали автоматчики, становились перед ним навытяжку. И снова Чехов повернул дистанционный маховичок, поплыл кверху крест нитей, офицер мотнул головой, упал боком, ботинками в сторону Чехова.

Чехов заметил, что ему легче стрелять в бегущего человека, чем в стоящего: попадание получалось точно в голову. Он сделал одно открытие, помогавшее ему стать невидимым для противника. Снайпер чаще всего обнаруживается при выстреле по вспышке, и Чехов стрелял всегда на фоне белой стены, не выдвигая дуло винтовки до края стены сантиметров на четырнадцать-двадцать. На белом фоне выстрел не был виден.

Он желал теперь лишь одного: чтобы немцы не ходили по Сталинграду во весь рост; он желал пригнуть их к земле, вогнать в самую землю. И он добился своего: к концу первого дня немцы не ходили, а бегали, к концу второго дня они стали ползать. Утром солдат не пошел уже за водой для офицера. Дорожка, по которой немцы ходили за питьевой водой, стала пустынной: они отказались от свежей воды и пользовались гнилой из котла. Вечером второго дня, нажимая на спусковой крючок, Чехов сказал: «Семнадцать». В этот вечер немецкие автоматчики сидели без ужина.

Чехов спустился вниз. Ребята завели патефон, ели кашу и слушали пластинку «Синенький скромный платочек». Потом все пели хором «Раскинулось море широко». Немцы открыли бешеный огонь — били минометы, пушки, станковые пулеметы. Особенно упорно «тыркали и гремели» голодные автоматчики. Они уже больше не кричали: «Русс, ужинать!»

Всю ночь слышны были удары кирки и лопаты — немцы копали в мерзлой земле ход сообщения. На третье утро Чехов увидел множество изменений: немцы подвели две траншеи к асфальтовой ленте улицы — они отказались от воды, но хотели по этим траншейкам подтаскивать боеприпасы. «Вот я вас и пригнул к земле», подумал Чехов. Он сразу увидел в стене дома напротив маленькую амбразурку. Вчера ее не было. Чехов понял: немецкий снайпер. «Гляди», шепнул он сержанту, пришедшему смотреть его работу, и нажал на спусковой крючок. Послышался крик, топот сапог — автоматчики унесли снай-

пера, не успевшего сделать ни одного выстрела по Чехову.

Чехов занялся траншеей. Немцы ползком пробирались до асфальта, перебегали асфальт и снова прыгали во вторую траншею. Чехов стал бить в тот момент, когда они вылезали на асфальт. Первый немец пополз обратно.

— Вот я и вогнал тебя в землю, — сказал Чехов.

На восьмой день Чехов держал под контролем все дороги к немецким домам. Надо было менять позицию, немцы перестали ходить и стрелять.

Он лежал на площадке и смотрел своими молодыми глазами на разрушенный немцами Сталинград — юноша, жалевший бить «по живому» из рогатки, ставший в силу железной и святой логики Отечественной войны страшным человеком, мстителем.

*16 ноября 1942 г.*

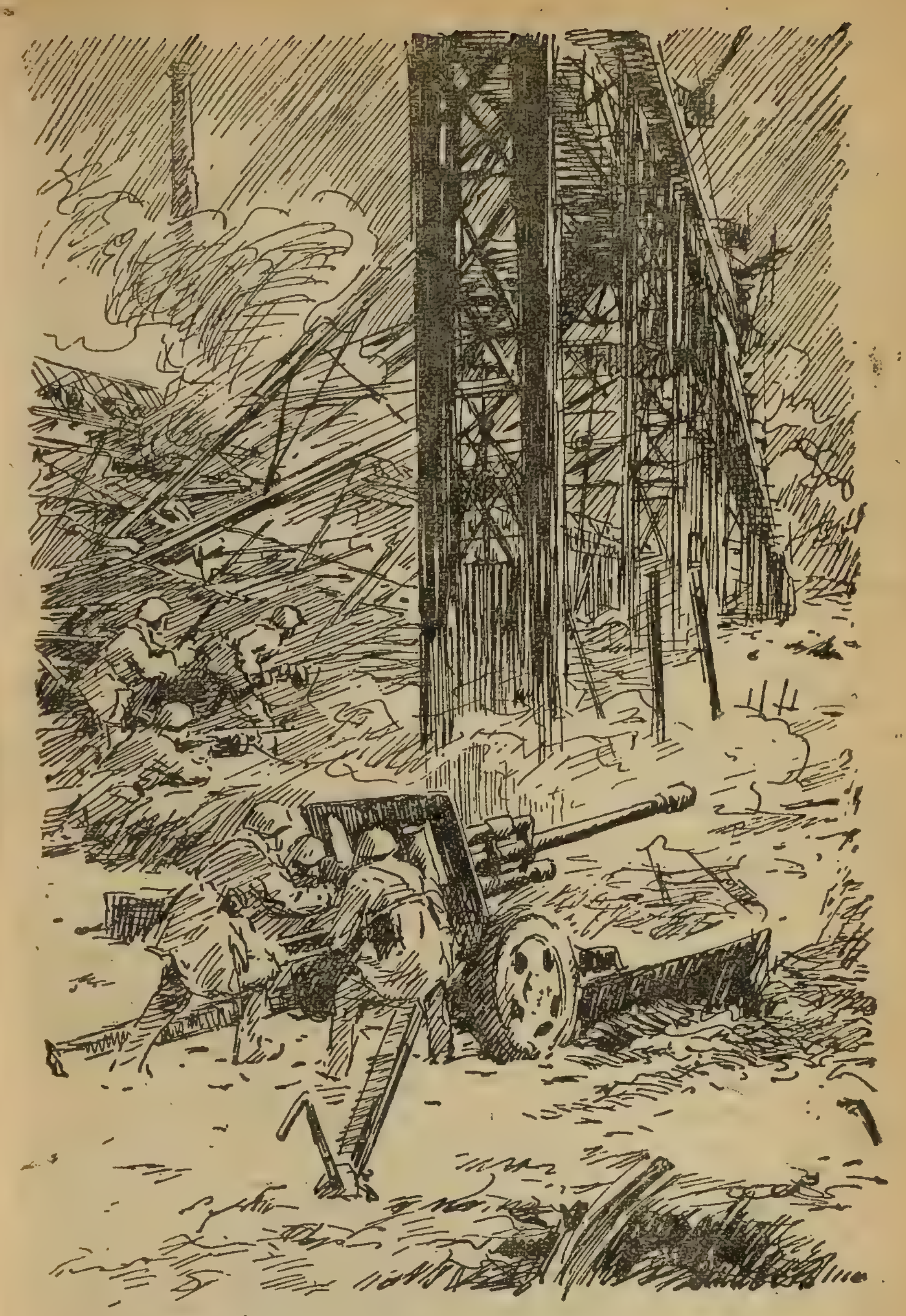




## НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА

Ночью сибирские полки дивизии полковника Гуртьева заняли оборону. Всегда суров и строг вид завода, но можно ли найти в мире картину суровее той, что увидали люди дивизии в октябрьское утро 1942 года? Темные громады цехов, поблескивающие влагой рельсы, уже кое-где тронутые следами окиси, нагромождение разбитых товарных вагонов, горы стальных стволов, в беспорядке валяющиеся по обширному, как главная площадь столицы, заводскому двору, холмы красного шлака, уголь, могучие заводские трубы, во многих местах пробитые немецкими снарядами. На асфальтированной площадке темнели ямы, вырытые авиационными бомбами; всюду валялись стальные осколки, изорванные силой взрыва, словно тонкие лоскуты ситца. Дивизии предстояло стать перед этим заводом и стоять насмерть. За спиной была холодная, темная Волга. Ночью саперы взламывали асфальт и в каменистой почве выдалбливали кирками окопы; в мощных стенах цехов прорубали боевые амбразуры, в подвалах разрушенных зданий устраивали убежища. Полки Маркелова и Михалева обороняли завод. Один из командных пунктов был устроен в бетонированном канале, проходившем под зданиями главных цехов. Полк Сергеенко оборонял район глубокой балки, шедшей через заводские поселки к Волге. «Логом смерти» называли ее бойцы и командиры полка. Да, за спиной была ледяная, темная Волга, за спиной была судьба России. Дивизии предстояло стоять насмерть.

Всю огневую тяжесть бесчисленных минометных батарей, тысячи орудий и воздушных корпусов обрушили



*Полки Маркелова и Михалева обороняли завод.*

немцы на северную часть города, на стоящий в центре промышленного района завод «Баррикады». Здесь автоматчиков снабдили разрывными пулями, артиллеристов и минометчиков — термитными снарядами. Здесь была собрана германская артиллерия — от малых калибров противотанковых полуавтоматов до тяжелых дальнобойных пушек. Здесь бросали мины, похожие на безобидные зеленые и красные мячики, и воздушные торпеды, вырывающие ямы объемом в двухэтажный дом. Здесь ночью было светло от пожаров и ракет, здесь днем было темно от дыма горящих зданий и дымовых шашек германских маскировщиков. Здесь грохот был плотен, как земля, а короткие минуты тишины казались страшней и зловещей грохота битвы.

Грозные это слова для военного человека: направление главного удара, жестокие, страшные слова. Нет слов страшнее на войне, и, конечно, не случайно, что в хмурое осеннее утро заняла оборону у завода сибирская дивизия полковника Гуртьева. Сибиряки — народ коренастый, строгий, привыкший к холоду и лишениям, молчаливый, любящий порядок и дисциплину, резкий на слова. Сибиряки — народ надежный, кряжистый, и они-то в суровом молчании били кирками каменистую землю, рубили амбразуры в стенах цехов, устраивали блиндажи, окопы, ходы сообщения, готовя смертную оборону.

Полковник Гуртьев, сухощавый пятидесятилетний человек, в 1914 году ушел со второго курса Петербургского политехнического института добровольцем на русско-германскую войну. Он был тогда артиллеристом, воевал с немцами под Варшавой, под Барановичами, Чарторийском.

Двадцать восемь лет своей жизни посвятил полковник военному делу, воевал и учил командиров. Два сына его лейтенантами ушли на войну. В далеком Омске остались жена и дочь-студентка. И в этот торжественный и грозный день полковник вспомнил и сыновей-лейтенантов, и дочь, и жену, и много десятков воспитанных им молодых командиров, и всю свою долгую, полную труда, спартански скромную жизнь.

Сибиряки пришли к великим рубежам хорошо подготовленными. Тщательно и умно, беспощадно придирчиво учил бойцов полковник Гуртьев. Он знал, что сколь ни тяжела военная учеба, ночные учебные штурмы, утюжение танками сидящих в щелях бойцов, долгие марши,

все же во много крат тяжелее и суровее сама война. Он верил в стойкость, в силу сибирских полков. Он проверил ее в дороге, когда за весь долгий путь было лишь одно чрезвычайное происшествие: боец уронил на ходу поезда винтовку, соскочил, поднял винтовку и три километра бежал до станции, чтобы догнать идущий к фронту эшелон. Он проверил стойкость полков в сталинградской степи, где необстрелянные люди спокойно отразили внезапную атаку тридцати немецких танков. Он проверил выносливость сибиряков во время последнего марша к Сталинграду, когда люди за двое суток покрыли расстояние в двести километров. И все же с волнением поглядывал полковник на лица бойцов, вышедших на главный рубеж, на направление главного удара.

Гуртьев верил в своих командиров. Молодой, не знающий устали начальник штаба полковник Тарасов мог дни и ночи сидеть в сотрясаемом взрывами блиндаже над картами, планировать сложный бой. В этом небольшом сухощавом молодом человеке с лицом, речью и руками крестьянина жила неукротимая сила мысли и духа. Заместитель командира дивизии по политической части Свирин обладал крепкой волей, острой мыслью; он умел оставаться спокойным, веселым и улыбаться там, где забывал об улыбке самый спокойный и жизнерадостный человек. Командиры полков Маркелов, Михалев и Чамов были гордостью полковника; он верил им, как самому себе. О спокойной храбрости Чамова, о несгибаемой воле Маркелова, о замечательных душевных качествах Михалева, любимца полка, по-отечески заботливого к подчиненным, мягкого и симпатичнейшего человека, не знающего, что такое страх, все в дивизии говорили с любовью и восхищением.

И все же с волнением глядел на лица своих командиров полковник Гуртьев, ибо он знал, что такое направление главного удара, что значит держать великий рубеж сталинградской обороны. «Выдержат ли, выстоят ли?» думал полковник.

Едва дивизия успела закопаться в каменистую почву Сталинграда, едва управление дивизии ушло в глубокую штольню, выдолбленную в песчаной скале над Волгой, едва протянулась проволочная связь и застучали радиопередатчики, связывающие командные пункты с занявшей в Заволжье огневые позиции артиллерией, едва мрак ночи сменился рассветом, как немцы открыли огонь. Восемь

часов подряд пикировали «Юнкерсы-87» на оборону дивизии, восемь часов без единой минуты перерыва шли волна за волной немецкие самолеты; восемь часов выли сирены, свистали бомбы, сотрясалась земля, рушились остатки кирпичных зданий; восемь часов в воздухе стояли клубы дыма и пыли, смертно выли осколки.

Тот, кто слышал вопль воздуха, раскаленного авиационной бомбой, тот, кто пережил напряжение стремительного десятиминутного налета немецкой авиации, тот поймет, что такое восемь часов воздушной бомбежки пикирующих бомбардировщиков. Восемь часов сибиряки били всем своим оружием по немецким самолетам, и, вероятно, чувство, похожее на отчаяние, овладевало немцами, когда эта горящая, окутанная черной пылью и дымом заводская земля упрямо трещала винтовочными залпами, рокотала пулеметными очередями, короткими ударами противотанковых ружей и мерной злой стрельбой зениток. Казалось, все живое должно быть сломлено, уничтожено, а сибирская дивизия, закопавшись в землю, не согнулась, не сломалась, а вела огонь, упрямая, бессмертная.

Немцы ввели в действие тяжелые полковые минометы и артиллерию. Нудное шипение мин и вой снарядов присоединились к свисту сирен и грохоту рвущихся авиационных бомб. Так продолжалось до ночи.

В печальном и строгом молчании хоронили красноармейцы своих погибших товарищей. Это был первый день — новоселье.

Всю ночь не умолкали немецкие артиллерийские и минометные батареи, и мало кто спал в эту ночь.

Этой ночью на командном пункте полковник Гуртьев встретил двух своих старых друзей, которых не видел больше двадцати лет. Люди, расставшиеся молодыми, неженатыми, встретились уже седыми, морщинистыми. Двое из них командовали дивизиями, третий — танковой бригадой. Они обнялись, и все вокруг — начальники их штабов, и адъютанты, и майоры из оперативного отдела — увидели слезы на глазах седых людей.

«Какая судьба, какая судьба!» говорили они. И в самом деле: что-то величественное и трогательное было во встрече друзей юности в грозный час, среди пылавших заводских корпусов и развалин Сталинграда. Видно, правильной дорогой шли они, если встретились вновь при выполнении высокого и тяжелого долга.

Всю ночь грохотала немецкая артиллерия, и, едва

взошло солнце над вспаханной немецким железом землей, появилось сорок пикировщиков, и снова завыли сирены, и снова черное облако пыли и дыма поднялось над заводом, закрыло землю, цехи, разбитые вагоны, и даже высокие заводские трубы потонули в черном тумане.

В это утро полк Маркелова вышел из укрытий, убежищ, окопов, он покинул бетонные и каменные норы и перешел в наступление.

Батальоны шли вперед через горы шлака, через развалины домов, мимо гранитного здания заводской конторы, через рельсовые пути, через садик городского предместья. Они шли мимо тысяч безобразных ям, вырытых бомбами, и над головами людей был весь ад немецкой воздушной армии. Железный ветер бил в лицо, а они все шли вперед. И снова чувство суеверного страха охватило противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?

Да, они были смертны. Полк Маркелова прошел километр, занял новые позиции, закрепился на них. Только здесь знают, что такое километр. Это тысяча метров, это сто тысяч сантиметров.

Ночью немцы атаковали полк во много раз превосходящими силами. Шли батальоны немецкой пехоты, шли тяжелые танки, и пулеметы заливали позиции полка железом. Пьяные автоматчики лезли с упорством лунатиков.

О том, как сражался полк Маркелова, расскажут мертвые тела бойцов, расскажут друзья, слышавшие, как в ночь и на следующий день и снова в ночь рокотали русские пулеметы, раздавались взрывы русских гранат. Повесть об этом бое расскажут развороченные и сожженные немецкие танки и длинные вереницы крестов с немецкими касками, выстроившиеся по-взводно, по-ротно, по-батальонно.

Да, они были простыми смертными и мало кто уцелел из них, но они сделали свое дело.

На третий день немецкие самолеты висели над дивизией уже не восемь, а двенадцать часов. Они оставались в воздухе после заката солнца, и из высокой тьмы ночного неба возникали воющие голоса сирен «юнкерсов» и, как тяжелые и частые удары молота, обрушивались на полыхавшую дымным красным пламенем землю фугасные бомбы. С утренней зари до вечерней били по дивизии немецкие пушки и минометы. Сто артиллерийских полков работали на немцев в районе Сталинграда. Вместе с ними

работали минометные батареи. Это было направление главного удара.

По нескольку раз в день вдруг замолкали немецкие пушки, минометы, вдруг исчезала давящая сила пикировщиков. Наступала необычайная тишина. Тогда наблюдатели кричали: «Внимание!», и боевое охранение бралось за бутылки с горючей жидкостью, бронебойщики раскрывали брезентовые сумки с патронами, автоматчики обтирали ладонью свои ППШ, гранатометчики ближе подвигали ящики гранат. Эта короткая, минутная тишина не означала отдыха. Она предшествовала атаке.

Вскоре лязг сотен гусениц, низкое гудение моторов оповещали о движении танков, и лейтенант кричал:

— Товарищи, внимание! Слева просачиваются автоматчики.

Иногда немцы подходили на расстояние тридцати-сорока метров, и сибиряки видели их грязные лица, порванные шинели, слышали картавые выкрики, угрозы, насмешки, а после того как немцы откатывались, на дивизию с новой яростью обрушивались пикировщики и огневые валы артиллерии и минометов.

В течение месяца немцы произвели сто семнадцать атак на полки сибирской дивизии.

Был один страшный день, когда немецкие танки и пехота двадцать три раза шли в атаку. И эти двадцать три атаки были отбиты.

Немцы полагали, что сломают силу сибирских полков. Но удивительное дело: люди не согнулись, не сошли с ума, не потеряли власть над своими сердцами и нервами, а стали сильней и спокойней. Молчаливый кряжистый сибирский народ стал еще суровей, еще молчаливей, ввалились у красноармейцев щеки, мрачно смотрели глаза. Здесь, на направлении главного удара германских сил, не слышно было в короткие минуты отдыха ни песни, ни гармоники, ни веселого, легкого слова. Бывали периоды, когда они не спали по трое, четверо суток кряду, и командир дивизии, седой полковник Гуртьев, разговаривая с красноармейцами, с болью услышал слова бойца, тихо сказавшего ему:

— Есть у нас все, товарищ полковник, и хлеб — девятьсот грамм, и горячую пищу непременно два раза в день приносят в термосах, да не кушается.

Гуртьев любил и уважал своих людей, и знал он: когда солдату «не кушается», то уж крепко, по-настоящему

тяжело ему. Но теперь Гуртьев был спокоен. Он понял: нет на свете силы, которая могла бы сдвинуть с места сибирские полки. Великим и жестоким опытом обогатились красноармейцы и командиры за время боев.

Им казалось, что они те же, какими были всегда: они в свободную, тихую минуту мылись в подземных банях, им так же приносили горячую пищу в термосах и заросшие бородами Макаревич и Карнаухов, похожие на мирных сельских почтарей, доставляли под огнем на передовую в своих кожаных сумках газеты и письма из далеких омских, тюменских, тобольских, красноярских деревень. Они вспоминали о своих плотницких, кузнечных, крестьянских делах. Они насмешливо звали шестиствольный немецкий миномет «дурилой», а пикирующие бомбардировщики с сиренами — «скрипунами» и «музыкантами». На крики немецких автоматчиков, грозивших им из развалин соседних зданий и кричавших: «Эй, русс, буль-буль, сдавайся!», они усмехались и меж собой говорили: «Что это немец все гнилую воду пьет? Или не хочет волжской?» Им казалось, что они те же, и только вновь приезжавшие с лугового берега с почтительным изумлением смотрели на них — уже не ведавших страха людей, для которых не было больше слов «жизнь» и «смерть».

Великий героизм был в работе девушек-санитарок, тобольских школьниц Тони Егоровой, Зои Калгановой, Веры Каляды, Нади Кастериной, Лели Новиковой и многих их подруг, перевязывавших и поивших водой раненых в разгар боя. Да, если посмотреть со стороны, то героизм был в каждом будничном движении людей дивизии: и в том, как командир взвода связи Хамицкий, мирно сидя на пригорке перед блиндажем, читал беллетристику, в то время как десяток немецких пикировщиков с ревом бодали землю; и в том, как офицер связи Батраков, аккуратно протирая очки, вкладывал в полевую сумку донесения и отправлялся в двенадцатикилометровый путь по «логу смерти» с таким будничным спокойствием, словно речь шла о привычной воскресной прогулке; и в том, как автоматчик Колосов, засыпанный в блиндаже разрывом по самую шею землей и обломками досок, повернул к заместителю командира Свирину лицо и рассмеялся; и в том, как машинистка штаба, краснощекая толстуха сибирячка Клава Копылова начала печатать в блиндаже боевой приказ и была засыпана, откопана, перешла печатать во второй блиндаж, снова была засыпана, снова откопа-

на — и все же допечатала приказ в третьем блиндаже и принесла его командиру дивизии на подпись.

Вот такие люди стояли на направлении главного удара.

Да, настоящие люди стояли на направлении главного удара; их нервы и сердца выдержали.

К концу второй декады немцы предприняли решительный штурм завода. Такой подготовки к атаке не знал мир. Восемьдесят часов подряд работала авиация, тяжелые минометы и артиллерия. Шипение бомб, скрипящий рев мин из шестиствольных «дурил», гул тяжелых снарядов, протяжный визг сирен одни могли оглушить людей, но они лишь предшествовали грому разрывов. Рваное пламя взрывов полыхало в воздухе, вой истерзанного металла пронизывал пространство. Так было восемьдесят часов. Затем подготовка кончилась, и сразу же, в пять утра, в атаку перешли тяжелые и средние танки, пьяные орды автоматчиков, пехотные немецкие полки.

Немцам удалось ворваться в завод, их танки ревели у стен цехов, они рассекали нашу оборону, отрезали командные пункты дивизии и полков от переднего края обороны. Казалось, что лишенная управления дивизия потеряет способность к сопротивлению, что командные пункты, попавшие под непосредственный удар противника, обречены на уничтожение, но произошла поразительная вещь: каждая траншея, каждый блиндаж, каждая стрелковая ячейка и укрепленные руины домов превратились в крепости со своими управлениями, со своей связью. Сержанты и рядовые красноармейцы стали командирами, умело и мудро отражавшими атаки. И в этот горький и тяжелый час командиры, штабные работники превратили командные пункты в укрепления и сами, как рядовые, отражали атаки врага.

Десять атак отбил Чамов. Огромный рыжий командир танка, оборонявший командный пункт Чамова, расстрелял все снаряды и патроны, соскочил на землю и стал камнями бить подошедших автоматчиков. Командир полка сам стрелял из миномета. Любимец дивизии, командир полка Михалев погиб от прямого попадания бомбы в командный пункт. «Убило нашего отца», говорили красноармейцы. Сменивший Михалева майор Кушнарев перенес свой командный пункт в бетонированную трубу, проходящую под заводскими цехами. Несколько часов вели бой у входа в эту трубу Кушнарев, его начальник штаба Дятленко и



*Каждая стрелковая ячейка и укрепленные руины домов превратились в крепости.*

шесть человек командиров. У них имелось несколько ящиков гранат, и этими гранатами они отбили все атаки немецких автоматчиков.

Этот невиданный по ожесточенности бой длился не переставая несколько суток. Он шел уже не за отдельные дома и цехи, он шел за каждую отдельную ступеньку лестницы, за угол в тесном коридоре, за отдельный станок, за пролет между станками, за трубу газопровода. Ни один человек не отступил в этом бою. И если немцы занимали какое-либо пространство, то это значило, что там уже не было живых красноармейцев. Все дрались так, как рыжий великан-танкист, фамилии которого так и не узнал Чамов, как сапер Косиченко, выдергивавший чеку из гранаты зубами, так как у него была перебита левая рука. Погибшие словно передали силу оставшимся в живых.

В этом бою немцам удалось занять ряд зданий и заводских цехов. Много раз переходили заводские цехи от сибиряков к немцам, и снова сибиряки захватывали их.

Словно подняв непомерную тяжесть, враги надорвали какие-то внутренние пружины, приводившие в действие их пробивной таран.

Две тысячи тонн превращенного в лом танкового металла легло перед заводом. Тысячи тонн снарядов, мин, авиабомб упали на заводской двор и цехи, но дивизия выдержала напор. Она не сошла со смертного рубежа, она ни разу не оглянулась назад, она знала: за спиной ее была Волга, судьба страны.

Невольно думаешь о том, как выковывалось это великое упорство.

Тут сказались и народный характер и суровая дисциплина. Но мне хочется сказать еще об одной черте: о крепкой любви, связывавшей всех людей сибирской дивизии. Любовь, связывающую людей дивизии, я увидел в той скорби, с которой говорят о погибших товарищах. Я услышал ее в словах красноармейца из полка Михалева, ответившего на вопрос: «Как живется вам?» — «Эх, как живется! Остались мы без отца». Я увидел ее в трогательной встрече седого полковника Гуртьева с вернувшейся после второго ранения батальонной санитаркой Зоей Калгановой. «Здравствуйте, дорогая девочка моя», тихо сказал Гуртьев и быстро с протянутыми руками по-

шел навстречу худой стриженой девушке. Так лишь отец может встречать свою родную дочь.

Эта любовь и вера друг в друга помогали в страшном бою красноармейцам становиться на место командиров, помогали командирам и работникам штаба браться за пулемет, ручную гранату, бутылку с горючей жидкостью, чтобы отражать немецкие танки, вышедшие к командным пунктам.

Жены и дети никогда не забудут своих мужей и отцов, павших на великом волжском рубеже. Этих хороших, верных людей нельзя забыть.

*20 ноября 1942 г.*





## НОВЫЙ ДЕНЬ

Шестнадцатого декабря днем подул сильный северо-восточный ветер. Темные мокрые облака, теряя тяжелую влагу, поднялись вверх, посветлели. Туман стал мерзнуть и оседать белым пухом на проводах военного телеграфа и на низко подстриженных минными осколками прибрежных деревьях. Лужи, стоявшие в снарядных воронках, заковало белыми пластинками льда, ледяной узор пополз по смотровым стеклам грузовиков, обращенных к ветру. Темные тела пудовых мин и тяжелых снарядов, сложенных в ямах у восточного причала переправы, покрылись легким инеем. Земля стала звонкой, воздух просторным. И на западе, над рваным каменным кружевом мертвого города поднялся красный закат.

Ветер и течение гнали Волгой огромную, трехсотсаженную льдину. Она проползла мимо Спартановки, мимо оскверненных врагом развалин Тракторного завода, стала медленно поворачиваться и у «Красного Октября» остановилась, уперлась своими широкими плечами между наледью восточного и западного берегов Волги.

В ясное небо, осторожно раздвигая звезды, поднялась луна, и все бывшее в мире белым стало неясным синим и голубым.

Течение, сдержанное льдиной, стало искать себе ходов поближе к речному дну, поверхность воды покрылась рыхлой тончайшей корочкой; через несколько часов она упрочилась, и в эту же ночь по трехсантиметровому, прогибающемуся и постреливающему льду первым перешел с левого на правый берег Волги сержант саперно-инженерного батальона Титов.

Он вышел на берег, оглянулся на далекое Заволжье и стал сворачивать папироску. И в эту минуту, когда Титов, бахвалясь, ответил окружившим его красноармейцам: «Как перешел? Взял да и перешел, чего проще!» — именно в эту минуту время перелистнуло величавую страницу в книге сталинградской борьбы, страницу, написанную крепкими большими руками с потрескавшейся от ледяной воды кожей, руками сержантов, красноармейцев, понтонных и инженерно-саперных батальонов, руками мотористов, грузчиков патронов — всех тех, кто сто дней держал переправу через Волгу, переплывал темносерую ледяную реку, глядел в глаза быстрой жестокой смерти.

Когда-нибудь споют песню о тех, кто спит на дне Волги. Эта песня будет проста, правдива, как труд и смерть среди черных ночных льдов, вдруг загоравшихся синим пламенем от разрывов термитных снарядов, от холодных голубых глаз «арийских» прожекторов.

Ночью мы идем по Волге. Двухдневный лед уже не прогибается под тяжестью шагов, луна освещает сеть тропинок, бесчисленные следы салазок. Связной красноармеец идет впереди уверенно и быстро, словно он пол-жизни своей шагал по этим пересекающимся тропинкам. Неожиданно лед начинает потрескивать. Связной подходит к широкой полынье, останавливается и говорит:

— Эге, да мы, видать, не так пошли! Надо бы вправо взять.

Эту утешительную фразу почти всегда произносят связные, куда бы и где бы они вас ни водили. Мы берем вправо и снова выходим на тропинку.

На заводах идет бой. Темные разрушенные стены цехов вдруг освещаются белым и розовым огнем орудийных выстрелов. Гулко, с перекатом ударяют пушки, сухо и звонко разносятся минные разрывы, то и дело слышатся чеканящие очереди автоматов и пулеметов.

Звуки ночного боя на заводе тоже говорят о новой странице сталинградской борьбы. Это уже не тот грохот, поднимавшийся высоко к небу, рушившийся с неба потоками на землю, захлестывавший весь огромный волжский простор. Прямые и быстрые трассы пулеметных очередей и снарядов пролегают между цехами. Стремительно возникают они из камня стен и вонзаются в холодный камень стен, исчезают в нем. Немец закопался в землю, ушел в каменные норы, залез в глубокие подвалы. Немцы расползлись по бетонированным бакам, по водопроводным

и канализационным колодцам, они забрались в подземные тоннели. Лишь снайперским снарядом, точно брошенной гранатой, термитным шаром можно их выковырять, уязвить, выжечь из глубоких темных нор.

Приходит утро, и солнце всходит в ясном морозном небе над Сталинградом, умерщвленным немцами. Солнце всходит над желтым песчаником, обнаженным в обрыве берега; оно освещает каменные, источенные снарядами развалины, заводские дворы, превратившиеся в поля битвы, где в смертной схватке сходились полки и дивизии; оно освещает края огромных ям, вырытых тонными бомбами. Дно этих страшных ям всегда в угрюмом сумраке, солнце боится касаться их. Зимнее солнце светит над братскими могилами, над самодельными памятниками, поставленными в тех местах, где лежат убитые в боях на направлении главного удара.

Святая земля! Как хочется навек сохранить в памяти этот новый город, выросший среди развалин, все эти подземные жилища с дымящими на солнце трубами, с переплетением тропинок и новых дорог, с тяжелыми минометами, поднявшими дула меж землянок, с этими сотнями людей в ватниках, шинелях, шапках-ушанках, занятых бессонным делом войны, несущих мины, как хлебы, подмышкой, чистящих картошку подле нацеленного дула тяжелой пушки, переругивающихся, поющих вполголоса, рассказывающих о ночном гранатном бое.

Но все меняется — и как не похожа переправа сегодняшнего дня на вчерашнюю, как не похож снайперский ночной бой на заводе на ноябрьские атаки, так сегодняшний сталинградский день не похож на отошедшие дни октября и ноября. Русский солдат вышел из земли, вышел из камня, он распрямился во весь рост, он ходит спокойно, неторопливо при ярком солнечном свете по сверкающей закованной Волге. Переваливаясь, идут бойцы, волочат салазки, ездовые сердито подгоняют лошадей, неуверенно ступающих по гладкому льду. На снежном холме левого берега чеканно выделяются грузчики, разгружающие припасы. Почтальон с кожаной сумкой медленно бредет под солнцем на командный пункт батальона, а по холму несут термосы с супом — несут двое связных, шагающих во весь рост в сорока метрах от немецких окопов.

Да, все меняется. И те немцы, которые в сентябре, ворвавшись на одну из улиц, разместились в городских до-

мах и плясали под громкую музыку губных гармошек, те немцы, что ночью ездили с фарами, а днем подвозили припасы на грузовиках, сейчас затаились в земле, спрятались меж каменных развалин.

Долго простоял я с биноклем на четвертом этаже одного из разрушенных сталинградских домов, глядя на занятые немцами кварталы и заводские цехи. Ни одного дымка, ни одной движущейся фигуры. Для них нет здесь солнца, нет света дня, им выдают сейчас двадцать пять — тридцать патронов на день, им приказано вести огонь лишь по атакующим войскам, их рацион ограничен ста граммами хлеба и конины. Они сидят, как заросшие шерстью дикари в каменных пещерах, и гложут конину, сидят в дымном мраке, среди развалин уничтоженного ими прекрасного города, в мертвых цехах заводов, которыми гордилась Советская страна. По ночам они выползают на поверхность и, чувствуя страх перед медленно сжимающей их русской силой, кричат: «Эй, русс, стреляй в ноги! Зачем голову стреляешь?», «Эй, русс, мне холодно — давай менять автомат на шапку!»

Из шестиствольных минометов они разрушили водопровод, они выпустили пятьсот снарядов по Сталгрэсу, они сожгли все, что могло гореть, они уничтожили школы, аптеки, больницы. И пришли для них страшные дни и ночи, когда им определено встретить возмездие здесь, среди холодных развалин, во тьме, без воды, гложа конину, прячась от солнца и дневного света под жестокими звездами русской декабрьской ночи.

*19 декабря 1942 г.*





# СТАЛИНГРАДСКОЕ ВОЙСКО

Дорога в батальон идет по железнодорожным путям, заставленным товарными составами, среди молодого, выпавшего ночью снега. Мы идем по пустырю, изрытому бомбовыми и снарядными ямами. Впереди, на кургане, темнеют водонапорные баки, в которых засели немцы. Пустырь этот хорошо виден немецким снайперам и наблюдателям, но худенький, щуплый красноармеец в длинной шинели, шагающий рядом со мной, идет спокойно, неторопливо и утешительно объясняет: «Думаете, он нас не видит? Видит. Раньше мы тут ночью ползали, а теперь не то: бережет патроны и мины».

Мой спутник неожиданно спрашивает, не играю ли я в шахматы, и тут же выясняется, что он шахматист первой категории, вот-вот должен был стать мастером. Никогда не приходилось мне беседовать об этой благородной игре, чувствуя, что на меня смотрят немцы, берегущие патроны. Отвечал я моему спутнику довольно рассеянно, отвлекаясь размышлениями, достаточно ли бережливы засевшие в железобетонных баках немцы. Но чем ближе мы подходим к этим бакам, тем хуже они становятся видны — отступают за гребень кургана.

Мы пошли тропинками по территории одного из цехов громадного сталинградского завода. Мимо груды рыжего железного лома, мимо колоссальных сталеразливочных ковшей, мимо стальных плит и разваленных стен.

Красноармейцы настолько привыкли к разрушениям, произведенным здесь, что не замечают их вовсе. Наоборот, интерес вызывает чудом уцелевший деревянный домик.

— Смотри, пожалуйста, живет домик! — говорят проходящие и улыбаются.

Командный пункт батальона помещается в подвале огромного четырехэтажного корпуса одного из промышленных комбинатов.

Противник рядом, но красноармейцы занимаются своими хозяйственными делами уверенно и неторопливо. Двое пилят дрова, третий колет топором поленья. Проходят бойцы с термосами. Под наполовину обвалившимся выступом стены сидит боец и старательно слесарит, поправляет поврежденную часть миномета. Он раздумывает, прежде чем принять решение об отдельных деталях своей работы, затем снова принимается за инструмент и напевает — совсем как мастеровой человек в обжитой своей мастерской.

Через разрушенную стену, на которой сохранилась дощечка: «Закрывайте двери, боритесь с мухами», мы проходим внутрь глубокого подвала. Здесь на столе стоит румяный медный самовар. Красноармейцы и командиры отдыхают на пружинных матрацах, снесенных сюда из окрестных разрушенных домов.

Командир батальона — капитан Ильгачкин, высокий худой юноша с черными глазами, с темным высоким лбом. По национальности он чуваш.

— Я здесь с сентября, — говорит он, — и теперь я ни о чем не думаю, только о кургане. Утром встану — и до ночи. А когда сплю, во сне его вижу. — Он возбужденно стучит кулаком по столу и говорит: — Возьму курган, возьму! План разработали так, что ни одной ошибки в нем быть не может.

В октябре он и красноармеец Репа были одержимы другой идеей: сбивать «Ю-87» из противотанкового ружья. Была построена фантастически остроумная и простая «зенитная» установка: в землю вбивался кол, устраивалась на нем втулка, на эту втулку надевалось колесо от телеги. Противотанковое ружье сошниками укреплялось на спицах колеса, а телом своим лежало между спицами. И сразу же худой и унылый Репа сбил три немецких пикировщика «Ю-87», долбивших наш передний край.

Теперь за противотанковое ружье взялся знаменитый сталинградский снайпер Василий Зайцев. Он приспосабливает к нему оптический прицел со снайперской винтовки, хочет разрушать немецкие пулеметные точки, всажи-

вать пулю в самую бойницу. И я уверен, что он добьется своего. Он пользуется большим уважением в городе. Воспитанных им молодых снайперов называют «зайчатами», и, когда он обращается к ним и спрашивает: «Правильно я говорю?» — все хором отвечают: «Правильно, Василий Иванович, правильно». И вот теперь Зайцев чертит, думает, высчитывает.

Здесь, в Сталинграде, как нигде, часто видишь людей, вкладывающих в войну не только всю кровь свою, все сердце, но и все силы ума, все напряжение мысли. И как некогда директора сталинградских заводов-гигантов гордились тем, что у них работает знаменитый стахановец или стахановка, так теперь командиры дивизий гордятся своими знатными людьми. Батюк, посмеиваясь, перечисляет по пальцам:

— Лучший снайпер Зайцев — у меня, лучший минометчик Бездидько — у меня, лучший артиллерист в Сталинграде Шуклин — тоже у меня.

В славной дивизии Батюка принят тон украинского доброго гостеприимства, добродушной, любовной насмешливости. Тут любят рассказывать, как Батюк стоял у блиндажа, когда немецкие мины со свистом одна за другой ложились в овраг возле начарта, пытавшегося выйти из своего подземелья, и шутя корректировал стрельбу:

— Правей два метра. Так, левей метр. Начарт, держись!

Тут любят посмеяться и над виртуозом стрельбы из тяжелого миномета Бездидько. И Бездидько, не знающий промаха, кладущий мины с точностью до сантиметров, смеется и сердится. И сам Бездидько, человек с певучим, мягким тенорком, лукавой украинской улыбкой, имеющий на своем счету тысячу триста пять немцев, любовно посмеивается над худеньким командиром батареи Шуклиным, подбившим из одной пушки в течение дня четырнадцать танков:

— А вин оттого и бив одной пушкой, шо у него тильки одна пушка и була.

Здесь в батальоне любят посмеяться, рассказать друг о друге смешное. Рассказывают о внезапных ночных стычках с немцами, о том, как ловят падающие на дно окопа немецкие гранаты и бросают их обратно в немецкие траншеи; как «сыграл» вчера шестиствольный «дурило» и влепил все шесть мин по немецким блиндажам; как огромный осколок от тонной бомбы, легко могущий убить

наповал слона, пролетая, разрезал красноармейцу, словно бритва, шинель, ватник, гимнастерку, нижнюю рубаху и не повредил даже самого ничтожного клочка кожи, капли крови не выпустил. И, рассказывая все эти истории, люди смеются; и самому все это тебе кажется смешным, и ты сам смеешься.

В соседнем отсеке заводского подвала размещаются ротные минометы. Отсюда стреляют, отсюда смотрят на противника, здесь поют, едят, слушают патефон.

Обычно говорят — тихий вечер. Но этот вечер нельзя было назвать тихим. Раздалось протяжное курлыканье, потом послышались тяжелые частые взрывы, и все сидевшие в подвале сказали в один голос: «Шестиствольный сыграл». Потом послышались такие же тяжелые взрывы и затем протяжный далекий гул. А спустя несколько мгновений ухнул одиноко взрыв. «Наше дальнобойное с того берега», сказали сидевшие. И хотя все время стреляли, хотя приход вечера в темном, холодном подвале стал заметен лишь по тому, что солнечный луч полз снизу вверх и уже подходил к черному, закопченному потолку, все же это был настоящий тихий вечер.

Красноармейцы завели патефон.

— Какую ставишь? — спросил один.

Сразу несколько голосов ответило:

— Нашу поставь, ту самую.

Тут произошла странная вещь: пока боец искал пластинку, мне подумалось: «Хорошо бы услышать здесь, в черном разрушенном подвале, свою любимую «Ирландскую застольную».

И вдруг торжественный печальный голос запел:

За окнами шумит метель...

Видно, песня очень нравилась красноармейцам. Все сидели молча. Раз десять повторяли они одно и то же место:

Миледи смерть, мы просим вас
За дверью обождать...

Эти слова звучали здесь непередаваемо сильно.

Миледи смерть, мы просим вас
За дверью обождать...

Под эту песню в полутьме подвала торжественно и выпукло вспоминались десятки людей сталинградской



*Песня очень нравилась красноармейцам.*

обороны. Вспомнился суровый сержант Власов, державший переправу, вспомнился сапер Брысин, красивый, смуглый, не ведающий страха, дравшийся против двадцати в пустом двухэтажном доме. Вспомнился Подханов, не захотевший после ранения уходить на левый берег. Когда начинался бой, он выбирался из подземелья, где находилась санитарная рота, и, подползая к переднему краю, стрелял из винтовки. Вспомнилось, как сержант Выручкин откапывал под ураганным огнем на Тракторном заводе засыпанный штаб дивизии. Он копал с такой стремительной яростью, что пена выступала у него на губах, и его силой оттащили, боялись, что он упадет мертвым от нечеловеческого напряжения. Вспомнилось, как за несколько часов до этого тот же Выручкин бросился к горящей машине с боеприпасами и сбил с нее огонь. И вспомнилось, что Выручкина не смог поблагодарить генерал Жолудев, так как Выручкина убило немецкой миной. Может быть, в крови его от прадедов передавалась эта солдатская доблесть — забывая обо всем, кидаться на помощь попавшим в беду; может быть, от этого и дали их роду кличку Выручкиных. Вспомнился мне боец понтонного батальона Волков. Раненный в шею, с рассеченной лопаткой, он тридцать километров добирался то ползком, то на попутных машинах из госпиталя на переправу и плакал, когда его увезли обратно в госпиталь. Вспомнились мне те, что сгорели в поселке Тракторного завода, но не вышли из горящих зданий, вели огонь до последнего патрона. Вспомнились те, кто дрался за «Баррикады» и за Мамаев курган, те, кто отражали немецкие танки в Скульптурном саду. Вспомнился мне батальон, погибший весь, от командира до левофлангового бойца, защищая сталинградский вокзал. Вспомнилась мне широкая протоpенная дорога, ведущая к рыбачьей слободе по берегу Волги, дорога славы и смерти; молчаливые колонны, шедшие по ней в жаркой пыли августа, в лунные сентябрьские ночи, в ненастье октября, в ноябрьском снегу. Они шли тяжелой поступью — бронебойщики, автоматчики, стрелки, пулеметчики, шли в торжественном суровом молчании, и лишь позвякивало их оружие да гудела земля под их тяжелым шагом.

И вдруг вспомнилось мне письмецо, написанное детской рукой, письмецо, лежавшее возле убитого в дзоте бойца:

«Добрый день, а может быть и вечер. Здравствуйте,

тятя. Я без вас шипко скучаю. Приезжайте хоть один час на вас посмотреть. Пишу, а слезы градом льются. Писала дочь Нина».

И вспомнился мне этот убитый тятя. Может быть, он перечитывал письмо, чувствуя свою смерть, и смятый листочек так и остался лежать около его головы...

Как передать чувства, пришедшие в этот час в темном подвале не сдавшегося врагу завода, где сидел я, слушая торжественную и печальную песнь, и глядел на задумчивые, строгие лица людей в красноармейских шинелях?

*1 января 1943 г.*






Схема-панорама ликвидации окруженных немецко-фашистских войск в районе Сталинграда.

## СОДЕРЖАНИЕ

*Школьники!*

*Напишите свой отзыв об этой книге. Укажите, какие книги вы хотели бы прочитать в «Военной библиотеке школьника».*

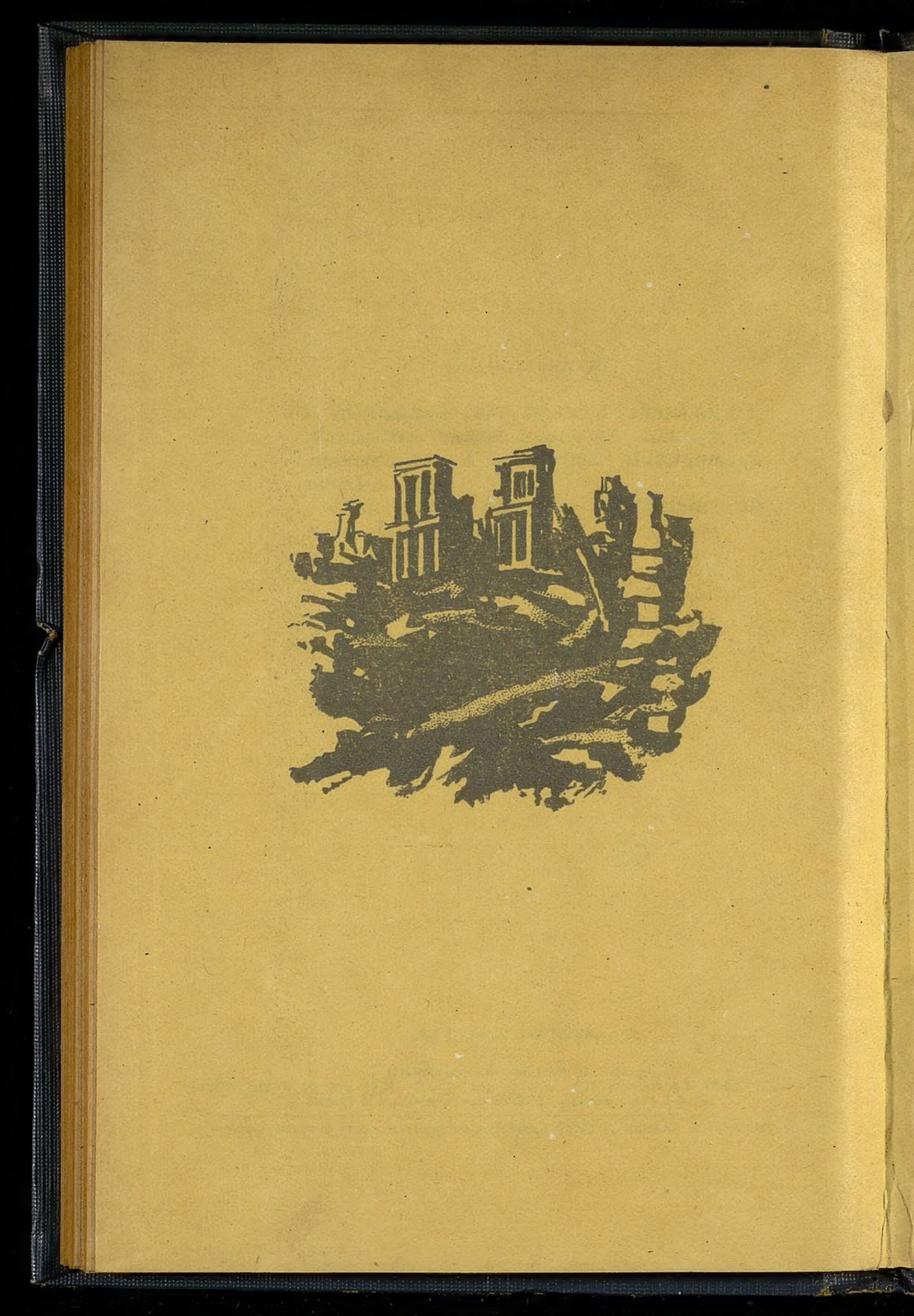
*Наш адрес: Москва, М. Черкасский пер., д. 1, Детгиз.*

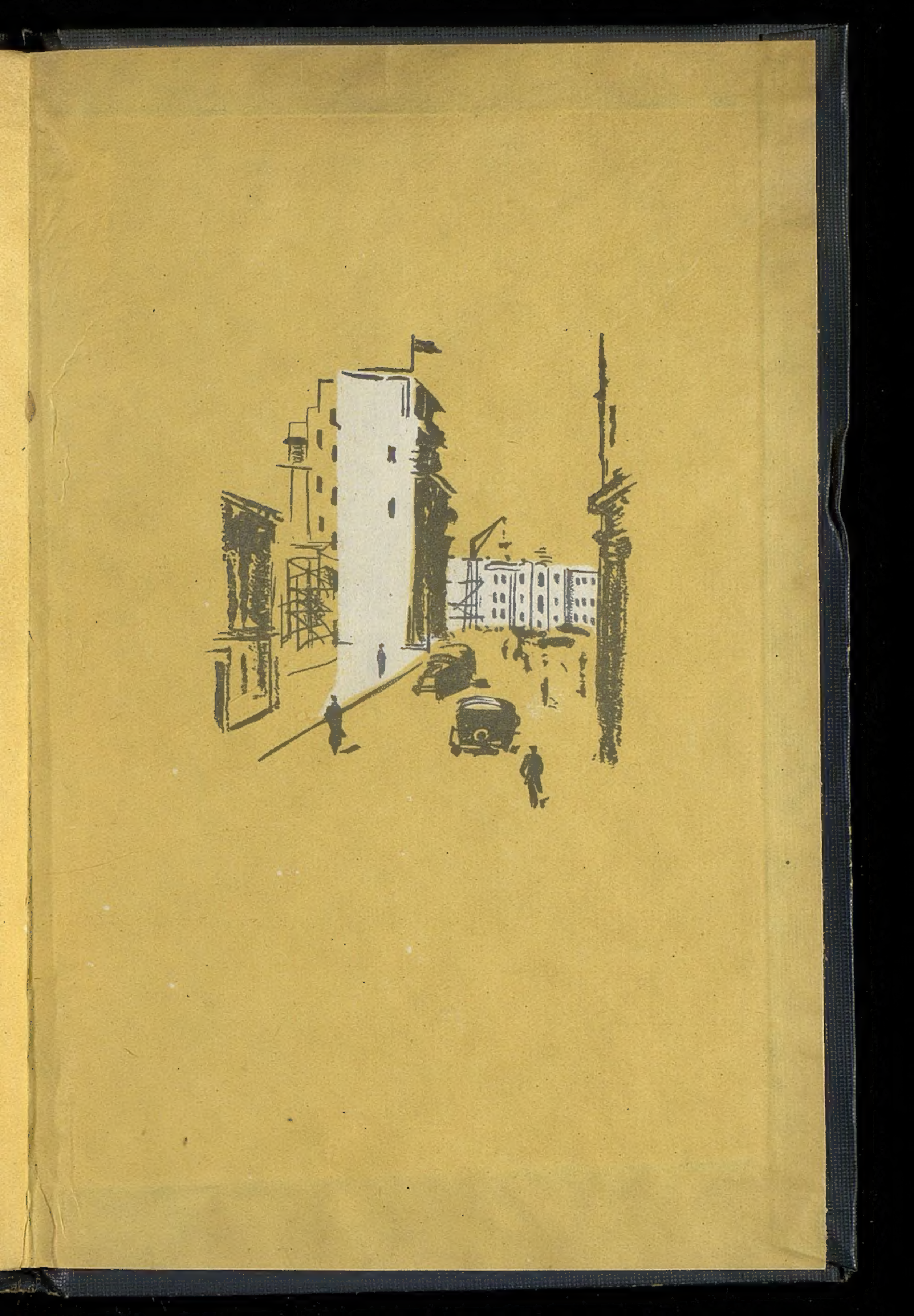


**ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА**

Ответственный редактор *Б. Камир.*
Подписано к печати 17.II. 1944 г. 5[3]/8 печ. л. (4,5 уч.-изд. л.). 26 600 зн. в печ. л.
Тираж 50000 экз. Заказ № 5076. Л25366 Цена 2 р. 50 к.

Фабрика детской книги Детгиза Наркомпроса РСФСР, Москва, Сущевский вал, 49.





Цена в переплете 8 руб.